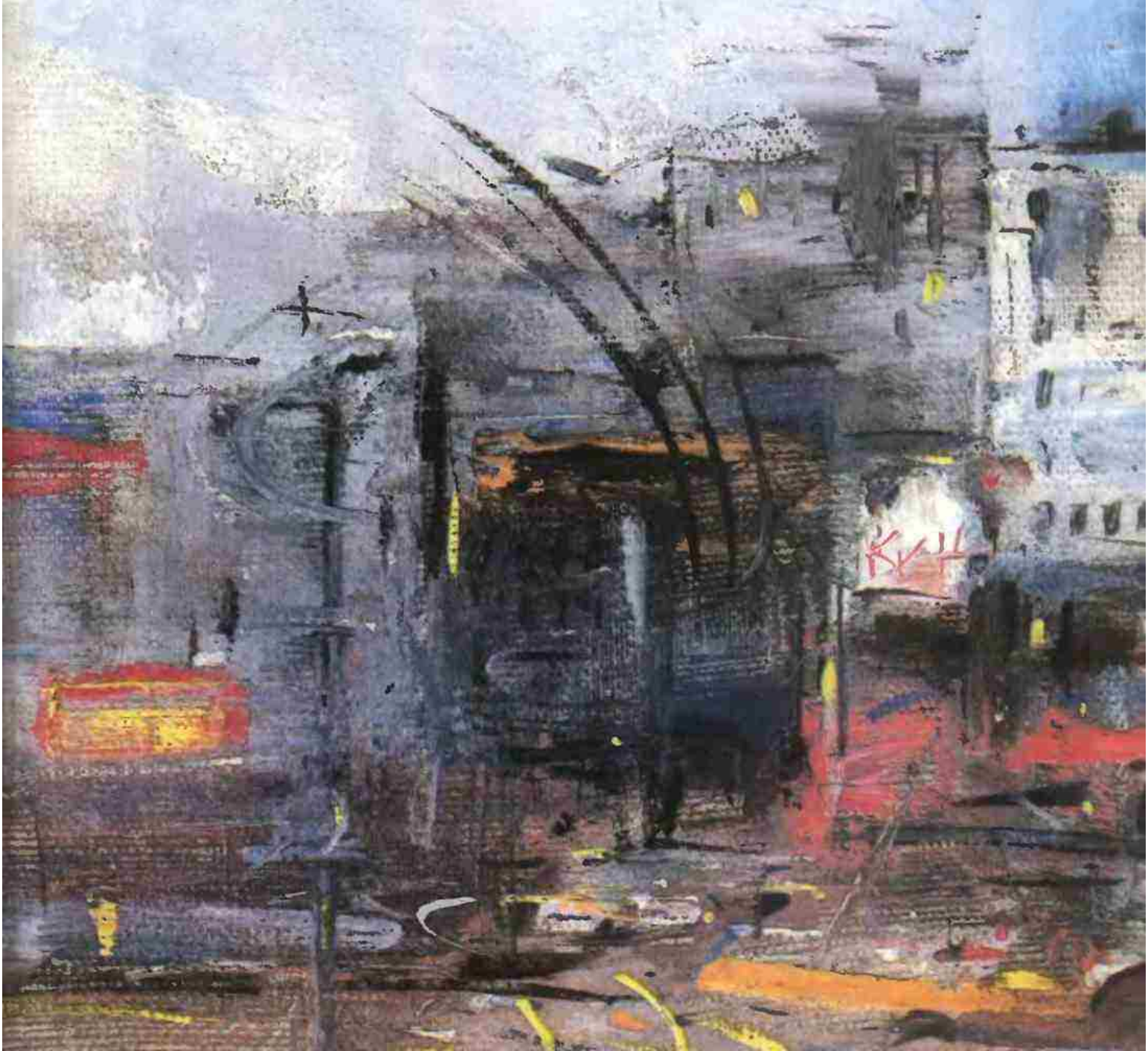
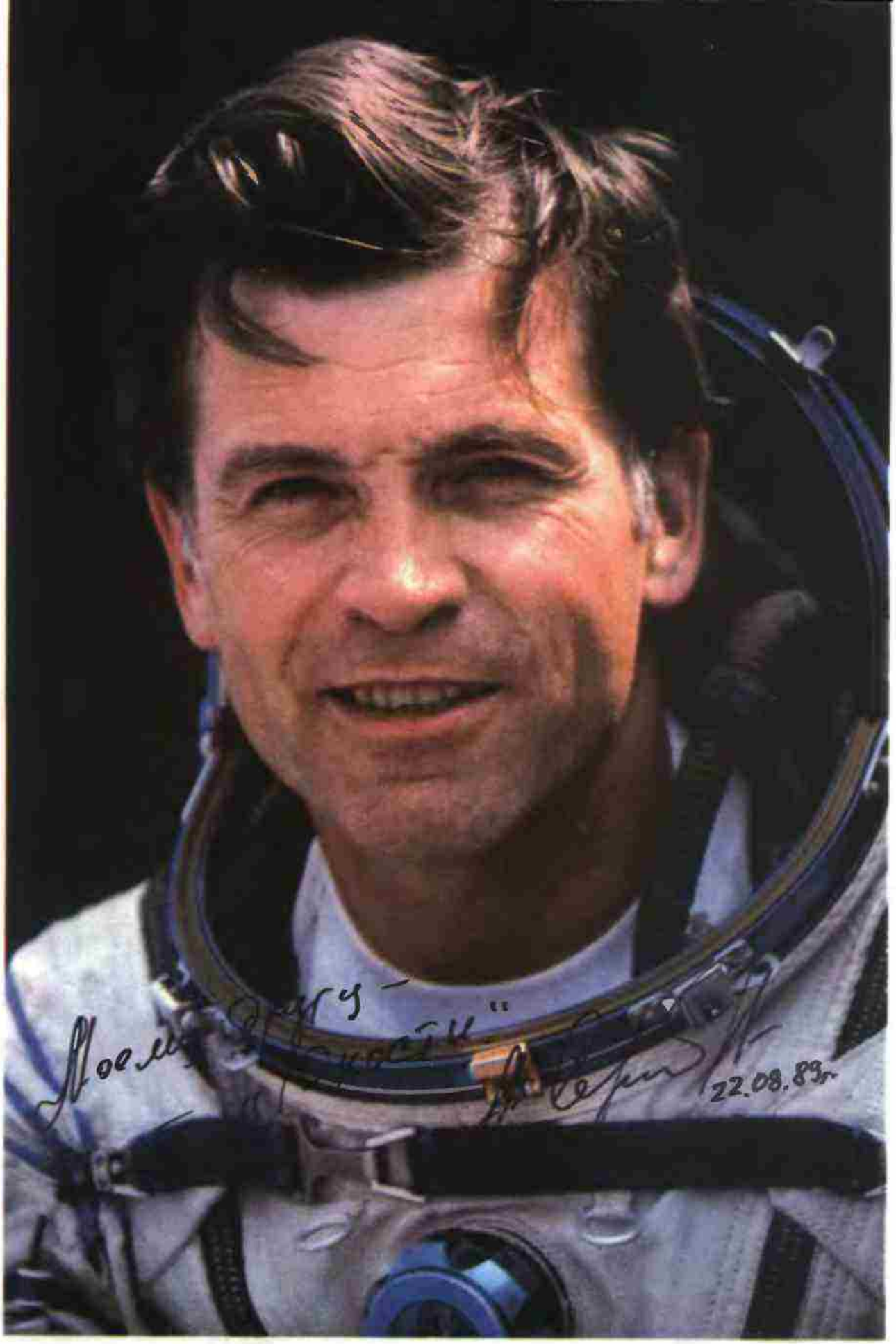
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

11 '89





В очередной раз на работу в Космос
отправился член редколлегии нашего журнала
космонавт Александр Серебров.
Читатели и друзья журнала
желают экипажу космического орбитального комплекса «Мир» —
космонавтам Александру Викторенко
и Александру Сереброву успешного полета!

ЮНОСТЬ

11 (414) '89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора,
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Леонид БОРОДИН

ТРИ РАССКАЗА

Бородин пишет медленно, не торопясь, как заключенный, у которого впереди долгие годы сиденья в тюрьме. Спешить некуда. Зато главы цельно складываются в голове, и он их уже не переписывает.

Он ценит в людях последовательность и рассуждает так: если не можешь поднять 100 кг — не поднимай. Сломался — не плачь. Соблюдай правила игры. Однажды признал эти правила — держись. Притом он не настолько категоричен, чтобы не признать смягчающие обстоятельства, которые делают людей, переступивших черту, неподсудными.

Понимая себя, мы не всегда уважаем убеждения других. В нас живет избыток агрессии, готовый выплеснуться, чтобы смять противника или, во всяком случае, побудить нас к долгой позиционной войне. И нам не приходит в голову, что если мы разучились убеждать, то убеждены ли мы в чем-либо сами?

Бородин когда-то жаждал сражения не потому, что был героем, просто был убежден в своей правоте. «Я прожил легкую жизнь,— сказал он,— у меня никогда не было проблемы выбора». Как всякий целеустремленный человек, он таит в себе жизненный парадокс; присутствие этого парадокса чрезвычайно впечатляюще отражается в прозе Бородина: она одновременно и жестка, и сентиментальна. В ней есть обнаженный реализм сегодняшнего видения и романтизм, до пределов обостренный обстоятельствами его жизни.

Герои его рассказов и повестей — крепкие люди, они слеплены из хорошего временного теста, характеры их круты, а поступки неожиданно-последовательны. Герои вовлечены в замысловатую спираль сюжета и ладят между собой даже тогда, когда готовы привести в исполнение приговор своей совести, не терпящей жизни другого человека. Они действуют на фоне стихии — природной, человеческой, проблемной. Бородин не выдумывает своих героев, он их вспоминает как сон, возможно, увиденный еще его предками, или как предсказание гадалки, над которым он втайне посмеивается. Как всякий сильный писатель (а проза Бородина при ближайшем рассмотрении ощутимо поигрывает закаленными мускулами), он становится правофланговым в шеренгу своих героев и равняет их на себя. Хотя возможно предположить и другое: нарушая все правила строя, он, один-единственный, равняется на своих героев. Начиная писать, он заведомо знает свое отношение к герою, порой люто ненавидит его, но сама проза, образуясь, воспитывает своего создателя — к концу произведения злость выдыхается, как старое вино, видоизменяясь порой в подобие симпатии.

Леонид Бородин — писатель с прошлым и будущим. Настоящее он еще мнет в руках, как скульптор глину, не зная, что из нее получится. Жизнь сделала Бородина работником экстраширокого профиля. Когда-то его, студента, в КГБ благословили так: «Познавай идеологию рабочего класса». И он познавал. Был бурильщиком, составителем поездов, делал мебель, утюги; шил рукавицы, кочегарил, служил завхозом и дворником, преподавал в школе, сторожил церковь. Взлет его «карьеры» — работа в управлении культуры.

Бородин давно не в ладах с Советской властью. Впрочем, это не совсем верно сформулировано. Он не в ладах с теми ее институтами, которые видели в нем врага.

Сам писатель объясняет так: когда уголовники глотают таблетки и прочую дрянь, они достигают порога болеощущаемости и могут спокойно зашить себе рот или пришить погоны на голые плечи. А существуют люди с повышенным порогом социальной чувствительности. Они знают: раз уступив, меняешь внутреннюю структуру. И потому никогда не смиряются с тем, что считают несправедливым. И это не достоинства, а факт из жизни. Даровано как характер.

«Легкая» жизнь Бородина включает в себя два заключения, последнее из которых, имея началом 1982 год, предполагало десять лет тюрьмы и пять лет ссылки. За что? По порядку: за участие в студенческой группе антикультового направления и написание басни о Хрущеве, за участие в более взрослой организации, также рассматривавшей пути развития нашей государственности и, наконец, за хранение эмигрантской литературы и сочинение рассказов и повестей, которые публиковало зарубежное издательство «Посев».

К сочинениям его в какой-то мере побудила тюрьма — ему надо было занять себя, отключиться от действительности, одновременно объяснив эту действительность. В начальные годы заключения все тому благоприятствовало: на работу не водили, а цензор был либерал. И бородинские тетрадки, убористо исписанные карандашом, спокойно отправлялись на волю.

Бородин пишет и печатается (на Западе) давно. Повести и рассказы его разнообразны и по стилю, и по тематике. То его именуют деревенщиком, то причисляют к мастерам городского романа. Его произведениям свойственна остросюжетность, та упругая детективность, которая скрыта в каждом, самом незначительном событии. Суть иных своих сочинений он рассматривает как некую реальную фантазию: «Что могло бы быть, если бы...» В одном из рассказов, которые вы прочтете, герой летает. Тема такой необычной естественной жизни не нова и достаточно традиционна в литературе. Но дело в том, что и сам писатель летает. Он летает во снах, от чего-то освобождаясь, что-то отыскивая. Ощущение полета не как ощущение новой жизни, но как достаточно резкая переоценка старого, как иной ракурс бытия, которое всегда богаче, чем мы его себе представляем во снах или наяву.

За рубежом Бородин признан — ему присвоены две литературные премии, два Пен-клуба (Англии и Франции) открыли ему свои двери. Самооценка писателя такова: «Я надеюсь, что не преувеличиваю своих способностей и догадываюсь о пределах своих возможностей».

В. ЛИПАТОВ

Рисунки Геннадия Новожилова
Фото Юрия Садовникова

Встреча

Когда-то давно Козлов занимался боксом, несколько раз получал нокаут, оттого и было знакомо ему состояние, когда возвращаешься из небытия, когда сначала не чувствуешь своего тела и будто впервые открываешь, что ты — есть; затем сознание выходит вовне и обнаруживает мир. Оно само еще как тысяча осколков. Но вот осколки медленно, потом все быстрее стягиваются к центру, воссоздавая целое. И тогда происходит узнавание себя и мира и начинаешь чувствовать свое тело.

Первое, что Козлов почувствовал, была боль в ноге. Он приподнялся, взглянул на небо, надеясь по солнцу определить, как долго был отключен. Но небо, как назло, еще с самого утра было плотно задраено грязными портянками и нигде не просвечивалось. Автомат лежал у ног. Козлов оглянулся. Негромко крикнул: «Эй!», но тишина была такая, как бывает, когда человек один. Начало саднить подбородок. Он притронулся к нему и увидел на руке кровь. Заломило скулы и какой-то зуб на правой стороне, а может быть, несколько зубов. Нокаут отменный. Только почему еще и ногу больно? Засунул руку в сапог, потрогал. Неужели еще и пнул? Ну и задачка с одним неизвестным! Неизвестный смотался. Автомат оставил — и на том спасибо.

Но сидеть и раздумывать некогда. Надо уходить. Он ведь еще не ушел. В этих редких, насквозь просвечивающихся березниках ему делать нечего. Надо найти настоящий лес. А места незнакомые. Некоторое время Козлов осматривался, пытаясь сориентироваться, потрогал разбитый подбородок, покачал головой, закинул на шею ремень автомата и зашагал на восток...

...Сначала ему не повезло — он попал в группу незнакомых людей. Большая часть их была измучена отчаянием, голодом, ранами... Твердо решив бежать при первой возможности, он сразу стал высматривать себе товарища. Понаблюдав, подстроился к сержанту с хмурым злым лицом, с большими ухватистыми ладонями работяги. На первый же его намек сержант, не поднимая глаз, длинно выматерился, сплюнул:

— Хорош! Отвоевался!

Козлов еле сдержался, чтоб не двинуть ему в ухо. Вот тогда он впервые и заметил этого, длинноногого. Хотя он был без очков, но по прищуру, по красноватой полоске на переносице в нем угадывался очкарик. Мгновенно оценив его, Козлов решил, что «с этим каши не сваришь». И тут же забыл о нем. Но очкарик стал попросту вертеться перед глазами. Это насторожило Козлова. Стоило ему оглянуться, и он тотчас же накалывался на ускользающий взгляд длинноногого. «Сволочь, чего ему надо?» — пытался угадать Козлов. Решил произвести «разведку боем». Подошел к нему и спросил запросто: «Закурить не найдется, приятель?» Тот растерялся, заморгал длинными белесыми ресницами, хрипло выдавил: «Нет», и откачнулся за чьи-то спины.

Их пригнали на ремонт железнодорожного полотна. Человек тридцать. Охрана — шесть солдат и две собаки. Для тридцати человек немного. Но для одного — больше чем достаточно. И все же у Козлова было предчувствие, что он уйдет именно сегодня.

Как и все, впрягся в работу. Люди таскали шпалы, подкладывали их под рельсы, забивали костыли, деревянными лопатами утрамбовывали грунт. Работали тяжело. Война шла уже третий месяц. Люди хлебанули ее сполна.

Козлов был на финском. Считая себя кадровым, он не мог себе простить, что попался. Это была короткая, но тяжелая история. Козлов решил выбросить ее из своей памяти и биографии. Ему нужно делать дело. Нужно уйти, и он уйдет...

К полудню Козлов почувствовал, что обстановка изменилась к лучшему. И он сделал стойку. Во-первых, люди растянулись вдоль дороги метров на сто. Во-вторых, солдаты-охранники, ранее державшиеся на значительном расстоянии и, значит, державшие всех под обстрелом, подошли вплотную, покрикивая на уставших людей, и почти затерялись среди них. И, наконец, самое главное, солдаты с собаками ушли в хвост растянувшейся колонны, которая постепенно приближалась к лесу, подходившему недалеко впереди к полотну железной дороги. Козлов видел, что лес невелик, за ним снова просматривалось поле, но для рывка достаточно.

Шалили нервы. Руки вспотели, на лбу выступила испарина. И снова ему на глаза попался очкарик. Злоба захлестнула Козлова. «Что вынюхиваешь, сволочь? Или у меня рожа такая, что на ней все написано! — думал Козлов, до боли сжимая скулы.— Пусть только под руку подвернется, гад!»

Близко за спиной залаял немец. Козлов добросовестно колотил кувалдой по корявым шляпкам костылей. Слева сбоку появились остроносые сапоги, на мгновение они замерли и зашагали дальше. И там снова послышались резкие, рычащие окрики...

В самом центре России, среди распластавшихся хлебов, тихих тенистых перелесков, в самом центре русской тишины, необычной для людей, оглушенных бедой, люди эти казались себе ненастоящими, будто участвовали в каком-то странном спектакле. Казалось, сейчас затейник, выдумавший все это, появится и скажет, сопровождая слова магическим жестом: «Проснись!» Скажет, и все они распрямятся, бросят ломы и лопаты, хлопнут друг друга по плечам, расхохочутся, сорвут с себя дурацкие лохмотья и пойдут каждый восвояси. Разве может быть иначе? Это же Россия, это же их земля! Разве не противоестественны среди плавной, мягкой русской многоголосицы эти резкие, грубые звуки, лишенные смысла? «Арбайтен!» — дикая абракадабра. Разве она имеет отношение к жаворонку, что повис и трепыхается над головой? А небо? Небо... Да... небо... Пожалуй, небо имеет отношение ко всему, что происходит на русской земле. Не чистое оно, больное, а не хмурое просто или в тучах. Да, только вот небо, только оно подтверждает, что впрямь беда, а не сон, беда пришла, и не все знают, как ей противостоять. Как же иначе объяснить, что тридцать русских мужиков согнули спины по приказу восьмерых чужих, точнее, шестерых, и двух псов. Но это одно и то же. Еще в руках у шестерых автоматы. А у тридцати их нет. Автомат! Хитро устроенный кусок железа, и только. Но как он меняет человека! Сталью наливаются мышцы, когда ладони срастаются с его холодными точеными литыми рукоятками, когда палец ложится на спусковой крючок, услужливый, податливый. Когда в руках автомат, жизнь твоя оценивается в тридцать жизней врага. Цена достойная! Когда же в руках лом, а сам ослаб от ранения и многодневного голода, во что тогда оценивается жизнь человеческая? Немцы — народ ученый. Они подсчитали. Если шесть поделить на тридцать, получится одна пятая. Выходит, он, Козлов, оценен в одну пятую вот этого хлюста с автоматом, что снова приближается к нему!

Козлов не поднимает головы и не смотрит, но видит его. Видит и другое. До леса метров пятнадцать — двадцать, немец один, собаки в конце колонны. Но он видит также, что палец на спуске, а затвор в боевом положении, и что немец знает свое дело — пружина. В руках Козлова кувалда. Три удара, и костыль в шпале. Взмах — удар, взмах — удар... «Одна пятая, одна пятая», — бормочет Козлов. «Одна» — взмах, «пятая» — удар. «Одна п-пятая, одна п-пятая...» Немец в пяти шагах. В пяти шагах от того, кто лишь одна пятая его цены. «Всю историю рассчитывали, подсчитывали, гады,— бормочет сквозь зубы Козлов,— барбароссы ср...е! Подведет расчетик!» Три шага. Взмах — удар. Немец рядом. Взмах... Немец сзади. Козлов поворачивается и опускает кувалду на рыжеватый стриженый затылок.

Солдат без звука упал на живот. Козлов рывком перевернул его, схватил автомат, дернул. На шее ремень за что-то зацепился. Козлов дернул еще, но увидел перед собой второго охранника. Долю секунды они, оба опешившие, смотрели, замерев, друг другу в глаза. Руки солдата лежали на автомате сверху. Но вот оба они сделали движение: Козлов сдернул автомат с шеи оглушенного или убитого немца, а его противник бросил руки на рукояти. Решали секунды. Козлов непременно проиграл бы — тому оставалось только нажать на спуск. Но в эту секунду немцу на голову опустилась кувалда. За спиной падающего немца выросла надоевшая фигура длинноногого очкарика. Он держал в руках кувалду, а на лице была растерянность, словно он не знал, что делать.

— Автомат! — крикнул Козлов.

Очкарик бросил кувалду, засуетился около немца. Козлов выругался, прыгнул, сдернул автомат, сунул ему в руки, крикнул: «Пошел!», махнул рукой и рванулся к насыпи.

Он позволил себе оглянуться, когда на полсотни метров углубился в лес. Шагах в десяти сзади бежал его напарник, вытаращив глаза, размахивая руками и автоматом, который держал в левой. Рот его был раскрыт, как у выловленной рыбы.

— Дыши носом! — крикнул Козлов, не сбавляя ходу.

Лесок уже кончался, когда затрещали выстрелы, и первые ядовитые шмели запели где-то совсем рядом или чуть над головой. Впрочем, Козлов знал по опыту, что это только кажется: та самая пуля не жужжит, ее не услышишь.

Впереди открывалась полоска поля метров в двести, за ней снова шел лесок и, кажется, сползал к оврагу. Очкарик отстал уже шагов на тридцать, но бежал резво, рот его по-прежнему был открыт. Козлов остановился и тут же услышал лай собак. Они уже были в лесу. Очкарик, тяжело дыша, встал рядом, бледнея вслушивался в приближающийся лай.

— Встретим,— бросил Козлов, занимая позицию за толстой приземистой березой.

Напарник его сделал то же самое, выставив автомат так, как пожарники держат брандспойт.

— Я сам. Страхуй меня! — крикнул ему Козлов и, увидев, что тот его не понял, еще, но резче и злее: — Встань рядом, если промахнусь, бей рукояткой!

Такое использование незнакомого оружия очкарику было понятнее, он перехватил автомат за ствол и встал рядом с Козловым.

Рассчитано было правильно. Собак лучше встречать здесь, чем в поле. Охранники же преследовать их не рискнут. Их сейчас там четверо осталось. Козлову было обидно, что никто больше не побежал. «Они побежали,— почему-то успокаивал он себя, побежали в разные стороны». Но все равно было обидно. Если бы не этот длинноногий, уложил бы его немец. Обидно...

Из кустов с лаем выкатилась овчарка. Козлов дал короткую очередь. Собака кувырнулась через голову, ударилась о пень и затихла. Также короткой очередью, экономя патроны, он встретил вторую — и тоже удачно. Только эта, перевернувшись в воздухе, вскочила, прыгнула, упала, снова вскочила, визжа на весь лес, крича почти по-человечески. Потом начала кататься по земле, иногда поднимаясь на задние лапы, а передними обхватывая голову, словно пытаясь вытряхнуть, выцарапать засевшую там пулю. Убедившись, что собака ранена смертельно, Козлов повернулся к своему напарнику, который стоял в воинственной позе, держа автомат обеими руками за ствол. Не отрываясь, он с ужасом смотрел на мечущуюся в агонии собаку, раздувая ноздри и облизывая губы.

Потом они долго, не останавливаясь и не разговаривая, шли полями, перелесками, оврагами, шли часа три, не меньше. И лишь уйдя от места погони километров на пятнадцать, в густом перелеске, Козлов решился на привал.

— Падай,— сказал он напарнику, и плюхнулся на траву, и лежал лицом вниз без движения минут пять. Потом поднялся, подошел к сидящему спиной к дереву очкарику и, протянув руку, предложил: — Знакомиться давай, что ли.

Что-то внезапно изменилось в лице сидящего перед ним человека, какая-то судорога прошла, точнее, промелькнула от подбородка к губам, через щеки. Дернулись веки, вздрогнули ресницы, совсем еле заметно дрогнули рыжеватые брови, а затем все лицо замерло и превратилось в маску. Козлов понял, что это было выражением гнева, даже злобы. Когда этот странный человек поднялся с земли и встал рядом с Козловым, то оказался на полголовы выше его, и тому пришлось задрать голову, чтобы не потерять пристальный взгляд своего напарника. Непонятно чем разъяренный человек, наконец, шевельнул бледными, до того в судороге застывшими губами, и хрипло прокричал в самое темя Козлову:

— Нам не надо знакомиться! Понятно?! Понятно вам?!

Вся его длинная многокостная худоба нависла над Козловым, и он даже отступил на шаг, непонимающий, удивленный. А тот наступал на него и кричал, широко раскрывая рот, выпячивая кадык, тараща близорукие глаза с расширенными зрачками. Это было смешно, и Козлов наверняка рассмеялся бы, если бы как раз в этот момент не получил удар в челюсть, начисто выключивший его на продолжительное время.

Кончался перелесок. Впереди показалась деревня. Козлов устало опустился на траву у самой опушки, обнаружив целую плантацию земляники. С полчаса он ползал по траве, не выпуская автомата. Ароматная, тающая во рту земляника обострила ощущение голода, к тому же хотелось пить. Все овраги и балки, что попадались ему на пути, были либо сухи, либо с мокрой вонючей грязью на самом дне.

Из-под его руки с отвратительным шипением выметнулась толстая метровая змея, и Козлова с поляны как ветром сдуло. «Вот история была бы,— переживаясь от охватившего его озноба, подумал Козлов,— уйти от фрицев и сдохнуть от отечественной гадюки! Веселенькое дело!» Нужно было идти дальше. Он решил обойти деревню справа,— в той стороне виднелась низина и могла быть вода. Он пошел опушкой леса, пересек широкую проселочную дорогу и скоро дошел до глубокой балки, на дне которой по разжиженной глине узким желобком едва струилась вода. Выбрав место посуше, Козлов закинул автомат за спину, опустился на сухую часть плиты песчаника, уперся ладонями в грязь и склонился над жалким подобием ручья, осторожно всасывая в себя воду, чтобы не поднять мути,— дно можно было почти достать носом. Это была вода, теплая, вонючая, с каким-то металлическим привкусом, но все же вода. Передохнув немного, он попил еще, а когда хотел подняться, рядом со своей рукой, почти полностью погрузившейся в грязь, увидел след другой руки, не его — позы своей он не менял. На другой стороне — второй отпечаток: кто-то недавно пил на этом же месте. Козлов вскочил, схватился за автомат, попятился к краю оврага, оглядываясь и прислушиваясь. Из деревни доносились крики петухов, голоса людей, стрекот мотоциклов. Здесь же было тихо. Ни шороха. Он снова подошел к тому же месту. Теперь там было четыре отпечатка. Пальцы чужой руки были длиннее его пальцев, а руки тот расставил шире, когда нагибался к воде. Неужели он идет по следам очкарика? Козлов был не прочь снова встретить его, чтобы выяснить, за что схлопотал по физиономии. Машинально потрогал подбородок. Боль почти прошла. На рассеченном месте запеклась кровь...

Тщательно осматривая каждый куст, пригибаясь и оглядываясь, он выбрался из оврага, обдумывая дальнейшие действия. Проблема голода его не волновала. В августе с голоду не умрешь: кругом поля, огороды, сады. Но рядом была деревня, не чужая, своя, русская. Неужто не накормят его в какой-нибудь крайней избе! Надо ждать ночи. Рядом раскинулось поле ржи, тупым клином упиравшееся справа в деревню, слева — в тот лесок, где он собирал землянику. Козлов, пригнувшись, проскочил небольшую полянку и нырнул в желтое, едва колыхавшееся море хлебов, углубился в него метров на сто, выбрал место погуще, встал на колени, пригнулся как можно ниже, стянул с себя грязную и перештопанную гимнастерку, расстелил ее на примятой ржи. Сначала распотрошил колоски, что были примяты, а потом загребал еще и этой кропотливой работой занимался, пока не собрал на добрый котелок молодого чистого зерна. Рот набивал до отказа, переворачивался на спину, зажмурив глаза, смаковал, крякал, подмигивал сам себе, перекатывался, снова набивал рот и снова опрокидывался на спину. И тепло, что входило в его тело и наливало каждую мышцу упругостью и ненасытной жаждой жизни, было не просто сытостью. Это сама мать-земля возвращала ему силы, что пролились на ее нивы солдатской кровью... Он радостно и доверчиво прижимался к земле, к своей земле. И слушал, и слышал ее уверенное дыхание, и дышал с ней в одном ритме. По-особому осознавалась свобода, которую он обрел. И пусть кругом враг, а он только один, и бредет он сейчас по своей земле, как волк затравленный, и головы поднять не может, зато теперь он снова солдат, и в руках есть оружие. А числитель дроби его стоимости... его! Раздобыть бы еще пару рожков да пару гранат. К тому же не сегодня завтра он наткнется на стоящих людей. Не удастся прорваться через линию фронта (где она теперь?), будет партизанить. Он кадровый и цену себе знает... Так лежал он и думал, и настроение было отличное.

Меж тем стемнело и потянуло прохладой. Козлов надел гимнастерку, приподнялся, осмотрелся, кинул ремень автомата за шею и, пригибаясь, подался к деревне. Перемахнув через жердевый забор, он оказался в огороде крайней избы. После каждого шага ожидал собачьего концерта. Где-то, кажется, через два или три дома тяжело и хрипло несколько раз рявкнул, судя по голосу, престарелый кобель. Здесь же, у этой избы,— ни звука. В единственном окне, выходящем

в огород, света нет, и дом выглядел нежилым. Но как только Козлов завернул за угол, лицом к лицу столкнулся с человеком, который, увидев его, вскинул топор, конечно же, заранее припасенный, и закричал:

— Чего по чужим дворам шляешься?

— Тихо, отец,— приглушил его Козлов.— тихо. Свой я.

Старик (Козлов разглядел его) чуть сбавил громкость, но продолжал так же враждебно:

— Ты не мути! Я своих знаю! Чего надо, говори!

— Немцы есть в селе? — спросил Козлов, обескураженный таким приемом.

— А ты как думал? Немцев, русских — всяких полно. Так что давай иди своей дорогой, коли еще пожить хочешь.

— Каких русских? — не понял Козлов.

— Каких, каких! Полицаев, вот каких!

Старик стоял, опустив топор, но не собираясь проявить гостеприимства.

— Гонишь, значит,— угрюмо выдавил Козлов.

— А кто ты такой, что я должен тебя в дом вести?!

Козлов хотел сказать «русский», но вспомнил про полицаев, замешкался...

Старик перешел в наступление.

— Ишь, подобрал берданку, дак теперь ему хлеб-соль подавай.

— Из плена я, папаша.

Но старик перебил его:

— Я тебе не папаша. В Орехове вот немцы таких вояк бабам раздают. Папашу нашел.

— Правильно говоришь. Сукин сын ты, а не папаша! — зло сказал Козлов и тут же схватился за автомат, потому что за спиной старика мелькнула тень.

— Идите в избу,— услышал он тихий женский голос.

Старик бросил топор куда-то в темноту и застучал ногами по крыльцу.

Женщина тронула Козлова за рукав.

— Идемте. Да идемте же! — повторила она, увидев нерешительность Козлова.— На батю не сердитесь. Идемте, а то еще услышит кто. Немцы в школе, а полицаи в сельсовете, но все время шныряют по деревне.

Через несколько минут Козлов уже ел отличный борщ.

— Батя, посмотри на крыльцо, мало ли что...— сказала женщина, и старик послушно вышел. Женщина молча и при тусклом свете лампы грустно рассматривала лицо своего гостя.

— За дубами вы прятались?

— Когда? — спросил Козлов, отрываясь от миски.

— Вечером.

— Нет.

— Тот подлинней был, пожалуй,— согласилась она. Увидев, что он задумался, спросила еще: — Вы его знаете?

— Если он придет, покормите. Он отличный парень, только не в себе немного. Контузия. Со мной идти не захотел.

Про контузию он соврал. Но такое объяснение странностям очкарика казалось ему очень правдоподобным.

Вернулся старик, молча сел на табурет. Женщина укоризненно посмотрела на него, но промолчала.

— Вам лучше идти.

Так она и сказала, когда он кончил есть: идти, а не уйти. Он кивнул. Не хочется, но надо идти. Женщина вышла в другую комнату и вернулась с новыми блестящими хромовыми сапогами. Такие надевали на свадьбу. Козлов заколебался, но надел. Его разваленные сапоги женщина унесла в сени. Потом она переглянулась со стариком, снова вышла в соседнюю комнату и принесла тоже совсем новую черную кожаную куртку. Перед войной такие куртки стоили дорого. Козлов стал отказываться.

— Берите,— сказала она просто. И он взял.

— Муж-то воюет?

Но по тому, как насупился старик и поникла женщина, понял, что спросил зря. Если бы был жив, вещи бы не отдавали, а хранили как справку о жизни.

Попрощался. Старик не ответил. Женщина вышла с ним во двор. В темноте он не видел ее лица.

— Счастливо,— тихо сказала она.

Он тоже хотел сказать ей что-то хорошее, как вдруг она огорошила его:

— А муженек мой в полицаях. В районе с молодухой живет.

Козлов оторопел, а потом начал с остервенением стягивать с себя куртку. Она вцепилась ему в руки.

— Нет! Нет! Это не его. Это брата. Он на границе служил! Пожалуйста! — умоляла она его шепотом.

— Врешь!

— Честное слово. Убили брата, вот и батя сам не свой. Пожалуйста! — повторила она еле слышно.

Козлов шагал сквозь ночь, и не было уже того приподнятого настроения, что пришло к нему в поле. Он думал о женщине, у которой муж — предатель, думал о старике, потерявшем сына, о своем странном напарнике. Козлов был почти уверен, что тот не в себе... За месяц войны он уже сталкивался с подобным. Командир одного из взводов в его роте однажды во время налета выскочил из окопа и начал палить из пистолета по пикирующим «юнкерсам». Вокруг смерть по тонне на квадратный метр, земля не успевала опускаться на землю, людей разносило в клочья, засыпало группами, прошивало вдоль и поперек, а этот обезумевший лейтенант прыгал над окопом с хохотом, о котором можно было только догадаться, не услышать, прыгал, палил из пистолета, а когда кончились патроны, бросил его вверх, намереваясь сбить самолет. От роты осталось меньше трети, а лейтенанта, невредимого, саязав, переправили в тыл.

На Руси к «чокнутым» всегда относились с почтением, в этом отношении было не только сострадание, но и еще что-то неосознанное и неназванное. Впрочем, это не только на Руси. Так, наверное, происходит оттого, что разум человеческий склонен к лукавству, пороку распространенному. И только обиженный в разуме напрочь лишен этого недостатка. На Руси же издревле люди чаще апеллировали к чувству, нежели к разуму, хотя, что и говорить, от бед это не спасало...

За ночь Козлов обошел еще две деревни. А с рассветом закопался в копну сена, что попалась ему на небольшой поляне в березняке.

...Проснулся он оттого, что рядом, совсем рядом говорили по-немецки. Много, не меньше десяти человек. И с такой же силой, как перед побегом, предчувствие подсказало ему, что он влип. Первой мыслью было отлежаться, переждать. Но где там! У самой головы зашуршало сено, он даже услышал запах человеческого пота. Копну растаскивали. Рядом разжигали костер. Еще одна охапка, и он будет обнаружен...

Рывком Козлов дернул затвор, ногой и стволом автомата расшвырял копну и выскочил на поляну. Прямо перед ним, лицом к лицу стоял с котелком в руке парализованный ужасом долгоязый чернявый немец. За его спиной вокруг в разных позах застыли остальные десять или двенадцать. Безоружные. Автоматы в аккуратной пирамидке — в стороне. Козлов присел, лихо свистнул и прошил очередью стоящего перед ним с котелком, повел вправо, влево, сваливая на костер ошарашенных солдат, в то же время ожидая, когда упадет чернявый и откроет ему весь сектор обстрела. Но тот выронил котелок, отвалил челюсть, перекосил глаза и стоял, растопырив руки и всем своим видом как бы вопрошая: «Вот тебе раз! Что же это происходит?» Козлов снова провел через него очередь и увидел, как пули рванули мундир. Но он по-прежнему стоял и загораживал ему других. Трое солдат бросились к автоматам. Козлов свалил их в кучу и стал ловить двух других, удиравших в лес. На все ушло не больше трех минут. И на поляне стояли теперь только двое: Козлов и мертвый немец, который никак не мог упасть. Остальные лежали друг на друге и поодиночке там, где он их положил. Запахло горелыми тряпками. Козлов подскочил к автоматам, выдернул пару рожков, сунул в карманы. Свой проверенный автомат сменить не решился. Взглянул еще на чудо войны — стоящего мертвеца и побежал в лес.

Не пробежал он и сотни метров, как за спиной затрещали очереди. Кто-то сумел отлежаться. Над головой зашумела малиновая ракета. Где-то затарахтели мотоциклы. Козлов свернул влево, скоро выскочил в ветвистый овраг, нырнул в него, побежал вниз, свернул в канаву, заросшую кустарником, залег и притаился. Стрекот мотоциклов приближался. Еще взлетела одна ракета, теперь в стороне. Он пополз вдоль канавы, выполз из нее в поле ржи, снова полз, теперь уже по полю, без всякого направления, просто потому, что нужно было уходить. Полз долго. Когда, наконец, приподнялся, увидел впереди растянувшуюся цепь автоматчиков. Его увидели тоже. Поле словно треснуло поперек, а над головой и вокруг засвистела и зажужжала смерть. Длинной очередью вдоль всей цепи он заставил немцев залечь и побежал, не назад, конечно, туда было нельзя, а вправо, наперерез цепи. Бежал, останавливался, давал очередь и снова

бежал. Все поле сбоку и сзади него точно проросло черными поганками. Но Козлов ушел бы, не возникни вдруг рядом знакомая фигура очкарика. Это было так неожиданно, что Козлов оторопел, а потом застонал от сознания, что, сам того не желая, вывел немцев на своего бывшего напарника. А тот, видимо, не сразу узнал его, переодетого, а когда узнал, то удивлен был не менее. Но удивление быстро сменилось той же злобой, и очкарик закричал: «Опять вы!»

— Беги! — крикнул Козлов, расстреливая черные тени, обступающие их уже с трех сторон. Очкарик и не подумал бежать. Стоя во весь рост, он вытянул вперед автомат и, морщась, тоже стал стрелять. Автомат ходуном ходил в его нелепо вытянутых руках, и проку от такой стрельбы было мало.

— Бежим! — крикнул Козлов, поняв, что тот из упрямства не оставит его одного. Впереди снова замаячил лесок. Им удалось вырваться из опасного полукольца. До леса оставался один рывок, когда очкарик охнул и упал. Прошило обе ноги выше колен. Козлов схватил его за руки, хотел дотащить хотя б до лесу, но очкарик вырвался, оттолкнул Козлова, надсадно, почти истерически закричал:

— Не подходите ко мне! Я ненавижу вас, слышите, если тронете, я застрелю вас!

— Ты что, спятил?!

— Ненавижу! — кричал очкарик.— Вы хуже их! — Он дернул головой в сторону немцев.— Хуже, потому что свой! Уходите!

Козлов не на шутку обозлился.

— Ты что орешь, дурак?! Ты соображаешь?!

Разбираться было некогда. Их снова настигали.

Козлов подскочил к очкарику, обхватил его руками так, что тот не мог сопротивляться, и потащил к лесу. Тяжелый был он, этот долговязый. Но на одном рывке, на одном дыхании Козлов дотащил его до леска и за первыми деревьями опустил на траву. Получив свободу, очкарик навел на него автомат.

— Уходите. Я не хочу от вас никакой помощи! Уходите! Мне лучше смерть от них, чем жизнь от вас. Можете вы это понять? Уходите! Я задержу их.

Козлов зашипел на него.

— Слушай, ты, чокнутый! Ты, может, думаешь, что мне от тебя жизнь нужна! Черт с тобой, раз ты ненормальный!

Он сдернул куртку и, оставшись в своей гимнастерке, снова схватил автомат.

— Эх! Пропало дело! — выкрикнул он отчаянно и начал обсыпать очередями рожь, в которой уже совсем близко мелькали фигуры немцев. Очкарик тоже стрелял полулежа, все так же неумело вытягивая руки вперед. Все лицо его покрылось потом, крупными каплями пота. Капли были, как слезы. Сморщенное, покрасневшее лицо его всеми мускулами реагировало на каждый рывок автомата. Но вот автомат его тупо хрюкнул и замолк. Очкарик, недоумевая, некоторое время еще продолжал давить на спуск, но потом наконец понял, что кончились патроны.

Козлов тоже уже расстреливал последний рожок. Ощущение конца было настолько сильным и гнетущим, что он потерял обычное хладнокровие и сыпал, сыпал, сыпал... и принял как должное, когда автомат его разом превратился в бесполезный кусок железа. Оказалось, что последние минуты стрелял он один. Оттуда, со стороны поля, не раздавалось ни звука. «Окружают?» — с тоской подумал Козлов и оглянулся, прислушиваясь. Тихо. Он взял автомат за ствол, до нестерпения горячий, вышел из-за деревьев, сделал несколько шагов вперед. Тихо. Оглянулся на очкарика. Тот лежал, прислонившись спиной к пню, запрокинув голову, выпятив кадык. Козлов вернулся, сел неподалеку, спросил примиряюще:

— До войны чем занимался?

Очкарик вздрогнул всем телом и прошептал:

— Замолчите!

Козлов ударил кулаком по земле, с размаху пнул подвернувшийся под ногу сучок.

— Ух! был бы ты цел, набил бы я тебе морду, дураку! Разом бы дурь вылетела!

Очкарик хотел что-то сказать, но впереди, в поле, послышался лай собак.

Теперь стало понятно затишье. Лай быстро приближался. Все повторялось, как в навязчивом сне, когда никак не можешь проснуться...

Когда овчарка взвилась в воздухе, Козлов встретил ее таким сокрушающим ударом автомата, что мог бы, наверное, проломить танк. Огромный откормленный пес, как мячик, отлетел на землю с развалённой головой. Но снова вскинуть автомат Козлов не успел, выронил его и, выставив вперед руки, схватил вторую собаку за щеки. Оскаленная пасть брызгала слюной прямо в лицо. Пена стекала с обнажившихся красных десен, а клыки были похожи на патроны, вставленные в обойму другого, меньшего калибра. Лапами овчарка била его по груди, стараясь вцепиться в кисти рук. Он держал ее почти на весу, она лишь касалась задними лапами земли. Он держал ее, она держала его. Она не могла укусить, он не мог ее выпустить. Прямо на него бежали немцы. Не стреляли, правильно оценив положение. Получалось, что собака, эта дрессированная тварь, брала его в плен. Козлов опустил ее к земле и носком сапога со всей силы ударил куда-то под живот. Собака завизжала, задергалась сильнее, закрутилась. Он ударил ее еще и еще. Кровавая пена хлынула из пасти, заливая ему руки... но тут на Козлова упало небо и всей своей тяжестью придавило к земле.

В крыше сарая была широкая щель, и когда к Козлову возвращалось сознание, он всматривался в эту щель, и она на глазах становилась все шире и шире, и тогда казалось, что совсем нет никакой крыши над головой, казалось, что снова лежит он в поле и над ним только небо и тишина.

Но вот в голову врывалась боль, закручивая и раскручивая пружины, втыкаясь в мозг сотнями острых щупалец, молотками тараня виски, и тогда он весь растворялся в этой боли, терял ощущение жизни, превращаясь в один израненный нерв, который, как полураздавленный червь, извивался и корчился в агонии. Иногда вдруг возникал мираж. Один раз увиделось ему, будто идет он по широкому полю. На нем ослепительно белая рубашка, а в левой руке он волочит по земле автомат. Он идет и вдруг видит перед собой того немца, который остался стоять на поляне. Только этот немец огромного роста, раз в десять выше. Но стоит он точно в той же позе. Мертвые скосившиеся глаза его смотрят не в лицо Козлову, а выше него, туда, в головокружительную глубину России. И растопыренные руки, выронившие котелок, все также восклицают: «Вот тебе раз! Что же это происходит?!» Козлов громко хохочет и почему-то кричит истукану: «Ну, где твои четыре пятых?!»

Порою, на мгновение, боль уходит совсем, будто ее не было. Тогда Козлов приподнимается и спрашивает в темноту:

— Товарищ, слышишь! Ты жив?

Но ответа нет...

Алексей Владимирович Самарин, преподаватель московского музыкального училища, был арестован по делу своего тестя, заместителя наркома. А с капитаном, что лежал теперь с ним в сарае в двух шагах, Самарин встретился там, в Богом проклятом краю, куда опьяневшая от инициативы и оптимизма Россия выбрасывала тонны щепок, эшелоны издержек производства от великого лесоповала.

В этом краю тоже шел лесоповал. Малый. Были также и щепки. Обычные. Древесные. Стояли последние дни единственного осеннего северного месяца. Дожди уже выдохлись, а снега еще не пришли. И эту незавершенность и неопределенность состояния природа пыталась компенсировать ползучим северным ветром. Ветер не срывал крыши с домов, не выворачивал деревья с корнем, не валил телеграфные столбы, но проходил сквозь все живое тончайшими острыми ледяными веретенами, и все живое перекручивалось, корежилось, мучилось судорогами постоянного, изнурительного озноба. Всех живых в этом месте было около пятисот. Утром группами уходили они из своего загона в лес, вечером так же группами возвращались в сквозняковые бараки, чтобы отлежаться до следующего утра.

В эти дни у людей случилось несчастье. Кончилось курево. В обычной жизни внезапные несчастья часто бывают прихотью случая. Здесь же такое несчастье имело своего автора. Именовался он начальником лагеря. Уголовники называли его «хозяином». Он действительно был полновластным хозяином полтысячи людей. С этими людьми и для этих людей он мог сделать все, кроме одного — освободить их. Но это ограничение в правах его едва ли угнетало, потому что он вовсе не испытывал желания их освобождать. Все же остальные события, происходящие с каждым из пятисот,

так или иначе имели к нему отношение. Они были результатом его действия или бездействия... Последнее, по-видимому, было причиной того, что вот уже неделю в лагере не курили. Давно выпотрошены все дозволенные и недозволенные распорядком карманы, давно обшарены все возможные места обнаружения окурков, давно выменяно все, что можно выменять у надзирателей. Два дня назад Самарин видел, как мужичок с нар напротив со слезами ползал на полу и иголкой подбирал махоринки, неожиданно высыпавшиеся у него из ватника. Самарин был некурящий и не понимал страданий этих людей, но верил им и, будучи человеком мягким и впечатлительным, страдал вместе с ними. Не все, конечно, вели себя одинаково. Много было таких, кто не подавал вида, что страдает, и не опускался до выклянчивания у надзирателей, не обшаривал мусорных ящиков. Но тон и настроение задавали не они. На четвертый день стихийно возникло несколько драк... К тому же ветер, отвратительный, гнусный ветер, от которого не было спасения даже в бараках. К тому же работа...

Самарин работал на трелевке. Очищенный от ветвей и сучков ствол петлей каната цеплялся за хвост и подтаскивался к дороге, где грузился на лесовозы. Тащить приходилось далеко по кочкам, камням, петляя среди пней. Три человека на ствол. Это была одна из самых тяжелых работ. Итог этой операции давал цифру плана бригаде. Тридцать два человека уже пять дней работали вполсилы. Горел план. Точнее, вот-вот должен был сгореть.

В сопровождении надзирателя, по кличке Крыса, в лагере появился сам «хозяин». Когда стих шум сотен голосов, капитан сказал:

— Нет махорки на складе. Рожать, что ли, ее прикажете!

Тишина повисла над лагерем. Нехорошая, опасная тишина. Но «хозяин» знал свое дело.

— Если завтра всем фронтом выйдете к пятьдесят шестой отметке, так и быть, сам сгоняю на базу и вырву пяток ящиков. Слышали? Фронтом к пятьдесят шестой. Махры нет. Вы дадите — я постараюсь.

И ушел.

То, что он потребовал, было невыполнимо. Отдельные бригады еще могли прорваться до отметки. Но фронтом! В некоторых бригадах треть людей больна. План эти бригады не давали, а перекрывались другими. Дойти до отметки для них значило дать больше двух норм...

Толпа развалилась на кучки. Тишина сменилась гомоном, постепенно возрастающим. Кучки зашевелились, стали перетасовываться, как карты в колоде. Потревоженным муравейником гудел, гомонился, суетился лагерь. Кто-то подсчитывал больных, кто-то некурящих. От последних многое зависело. С какой стати им надрываться! Начались споры, крики, речи. Кое-где даже мелькнули кулаки. К ночи решение было принято. Дать! До конца месяца еще неделя. Значит, минимум еще неделя без махорки. Дать!

На что рассчитывали люди? На которое дыхание? Где надеялись взять силы? А ведь надеялись. Самарин не верил. Но не возражал, как не возражало большинство некурящих.

Этот день ему не забыть. Уже к обеду двоих придавило. Один порубил ногу. Нельзя было назвать работой то, что люди делали в этот день. Это можно было назвать подвигом, если бы не цель... Если же не задумываться над целью, то это было даже больше, чем подвиг. К четырем часам несколько бригад вышло к проклятой отметке, и люди, не передохнув, бросились к отстающим участкам. Еще несколько травмированных было отправлено в лагерь.

Самарин перестал что-либо ощущать задолго до того, как их бригада перекатилась на новое место. Он не чувствовал усталости, он только знал, что если остановится, то упадет и не встанет. Может быть, даже умрет. И он боялся конца работы. Вокруг него двигались, суетились люди,— он никого не видел, ничего не слышал, ничего не чувствовал. Сознание вообще и сознание происходящего словно отделилось от него и повисло где-то между ним и миром, образовав некое

подобие духовного двойника его самого. Он или его двойник иногда бормотал что-то бессвязное и бессмысленное, а на это бормотание откликались тени, что сновали вокруг, откликались так же бессвязно и бессмысленно.

К шести вечера стало безнадежно ясно, что «не дать» .., что все, что происходило здесь, оказалось напрасным, что чуда не произошло. Тогда люди начали падать там, где настигало их понимание поражения.

Долго, надрывно и злобно сгоняли охранники полумертвых людей в обязательные для следования колонны. Долго, утомительно долго ползли колонны, подгоняемые охраной, к своему проволочному плацдарму. И снова повисла над лагерем тишина, та самая тишина, что в таких случаях не что иное, как концентрированное выражение возможного действия — такого же беспредельного и отчаянного, как эта тишина. Но опять в сопровождении Крысы появился «хозяин». Никто не поднялся с нар, когда он вошел в барак. Но это был еще не бунт — только безразличие и усталость... «Хозяин» прошел вдоль барака, остановился посередине, молодой, подтянутый, уверенный в себе, сверкающий пуговицами, сапогами, фиксой во рту, и силой своей — сверкающий, как самородок благородного металла в куче утильсырья.

— Ну, так что же, ребята! — сказал он достаточно громко, спокойно и даже с ноткой сочувствия в голосе.— Порадовать мне вас нечем. Сами понимаете. Уговор дороже денег.

Эти слова словно разбудили Самарина. Он слез с нар, снял очки, положил под подушку, подошел к капитану и сказал четко и рублено:

— Вы мерзавец!

Барак захлестнуло тишиной. В выжидательной стойке замер Крыса. Капитан ухмыльнулся, прищурясь оглядел барак.

— Надо понимать, он высказал ваше общее мнение?

Ехидная угроза прозвучала в этом вопросе. Самарин продолжал стоять лицом к лицу с «хозяином», выражая тем самым осознанную готовность к ответственности за свои слова.

Капитан презрительно оглядел его.

— А чего ты стоишь? Сказал свое и шагай. Или ждешь, что я тебя бить буду? Не буду. Пошел на место!

Недоумевая, Самарин направился к нарам. Так же недоумевая, Крыса заглядывал в лицо «хозяину». Тот прошелся по бараку, остановился.

— Вот что я вам скажу. На проходной лежат пять ящиков с махрой. И я собирался выдать их, хотя вы и не выполнили уговора. Но теперь можете растереть на махорку вашего уполномоченного и курить его до будущего месяца. Все.

Самарин рухнул на нары.

А через полчаса к нему подошел бригадир и сказал:

— Слушай, Самарин, капитан в комнате нарядчиков. Иди попытайся договориться. А то ведь, черт знает, что может получиться. Уголовники шумят. Мы, конечно, в обиду тебя не дадим, да не уследишь... И вообще...

И вообще бригадир тоже хотел курить, а махра была рядом...

Когда Самарин вошел в комнату, капитан сидел, развалясь на стуле, спокойный, ухмыляющийся. Нарядчики вышли. Они остались вдвоем.

— Разве ты не все сказал?

Самарин набрал воздуху.

— Я погорячился... от усталости... прошу вас, дайте им махорку.

— А сам ты что, некурящий? — с наигранным удивлением спросил «хозяин».

— Некурящий.

— Так какого хрена ты суешься не в свои дела?

Капитан поднялся, подошел к Самарину.

— Я мог бы пристрелить тебя, как последнюю тварь, но не хочу делать из тебя героя. Я проучу тебя. Там, в бараке, ты изображаешь из себя отважного интеллигента-народолюбца. А я хочу, чтобы ты сегодня понял, что раз ты здесь, то ты есть мразь, отребье народное, понял? Хоть ты и зовешься официально враг народа, но ты даже не враг, а мразь. Ты хотел пострадать за народ, ну так пострадай.

Капитан сел, вытянул вперед носок сапога.

— Видишь, из-за тебя сапог замарал. Язык, как я понял, у тебя длинный, ну-ка, махни раз-другой!

Самарин с грохотом выскочил из комнаты, но на крыльце, на последней ступеньке, замер. На улице было темно. И он не увидел, а услышал толпу, молча застывшую перед крыльцом. Люди ждали.

Самарин сел на ступеньку, обхватил голову руками.

Рискованную игру вел «хозяин». Еще неизвестно, как повели бы себя эти униженные и измученные люди, если бы Самарин рассказал им о том, что произошло в комнате. А итог?

Самарин поднялся и пошел назад к «хозяину». Тот словно знал, что он вернется, сидел в той же позе, так же ухмылялся и сверкал фиксой.

Самарин встал на колени, но сапог был низко, и ему пришлось опуститься на руки. В этом момент капитан обратился к нему, стоящему на четвереньках:

— А на воле ты чем занимался?

Самарин хотел промолчать, но сапог отодвинулся.

— Преподавал музыку,— глухо ответил он.

— Да? Ну давай, зарабатывай людям на махру, музыкант! — весело сказал капитан, подсовывая ему сапог.

Самарин решил убить его и убил бы, но капитана скоро перевели куда-то на материк.

И вот через три года Самарин встретил этого человека в колонне пленных, которых немцы отобрали для ремонта железной дороги. Самарин растерялся. За эти годы он так часто представлял себе эту маловозможную встречу, так верил, что месть снимет с его души груз непреодолимой боли, мерзкую жабу, упавшую ему на грудь, мешающую жить и даже мешающую умереть, потому что лично для него даже война ничего не списала...

В том, что капитан его не узнал, было что-то еще более обидное и унизительное. «Что с ним сделать? — лихорадочно думал Самарин, пока их вели к месту работы.— Избить? Убить? Опозорить?» Он представлял себе и то, и другое, и третье и разом понял, что, какое бы решение он ни принял, он не будет удовлетворен. Он понял, что все случившееся в лагере непоправимо: что никогда не забыть ему унижения, никогда не расстаться с болью. Рана его смертельна. Никакой компенсации быть не может. Но страшнее всего было то, что капитан не узнавал его. «Может, потому что я без очков?» — думал Самарин и несколько раз нарочно сталкивался с ним лицом к лицу. А кончилось это тем, что капитан подскочил к нему с просьбой закурить. Это «закурить» окончательно сломило Самарина. Трудно сказать, какое решение принял бы он, если бы капитан не устроил побег. Самарин все же ударил его, ударил здорово, хотя бил человека впервые в жизни, даже рука онемела. Он еще пнул его и хотел испинать своего врага, но с отчаянием обнаружил, что врага нет. Нет врага. А боль есть. И некому ее вернуть. И жить с ней невозможно...

Их поставили тут же, у сарая. Дальше они не могли идти. У Самарина опухли обе ноги, он даже не мог стоять. Козлов, сам еле удерживаясь на ногах от головокружения, вытащил его из сарая. И теперь они стояли рядом, точнее, один почти висел на плече другого.

Наступил вечер. Прояснилось небо. Только там, в западной стороне, кто-то, будто из двустволки, выстрелил вплотную по ястребу, и перья веером разлетелись по всему небу, а на самом хребте зари, как окровавленные куски, подсвеченные изнутри ветровым закатом, обрывки облаков...

Поддерживая Самарина, Козлов повернулся к нему лицом и с больной улыбкой сказал:

— Прощаться будем. Может, перед смертью скажешь, за что морду бил?

Самарин взглянул ему в лицо, хотел ответить словами, которые придумал заранее. Эти слова должны были быть словами прощения. Он почти вплотную приблизился к Козлову и вдруг увидел, что у того нет фиксы.

— Боже мой! — вскрикнул Самарин.

Но с боку раздался гром и вошел в них обоих острым голосом смерти. Они дернулись, отшатнулись и упали в разные стороны...

Вариант

Сеновал находился напротив дома. Это был как бы второй этаж сарая, но, в сущности, лишь чердак сарая с крутым скатом крыши. Одним торцом сеновал выходил на улицу, к другому со стороны огородов была приставлена много раз штопанная лестница, которая угрожающе скрипела, когда

Андрей лез по ней. Сена было немного, но запах его подействовал сильнее самогона, и, когда Андрей, устроив ложе, плюхнулся, растянувшись в рост, голова его пошла кругом, и хмель закрутил, завертел, зашвырял его из стороны в сторону. Состояние было приятное и радостное. Была легкость и безмятежность. Запах сена был так неожиданно силен, что все остальные чувства и ощущения привел в растерянность. И еще... Он был запахом детства.

Его детство было связано с войной, и его детские игры были играми в войну. Почему они никогда не играли в солдат, всегда играли в партизан? А почему во всех играх он непременно бывал командиром отряда? Наверное, потому, что партизанский командир сам себе голова, над ним нет начальников?

Это соображение удивило и огорчило Андрея. Оказывается, в детстве у него были отчетливые анархистские наклонности! Мальчишки всегда подчинялись ему. И не только сверстники, но и те, что были старше, бесспорно признавали его главенство. Почему? Что подавляло их? Физически он был крепок, но не крепче многих. Фантазия? Может быть. Но скорее всего его отношение к играм. Он всегда играл всерьез, и, если игра требовала какого-то умения, он овладевал им, чего бы это ни стоило.

Если же взглянуть по-другому, то он просто не отличал жизнь от игры, может быть, оттого его жизнь стала похожей на игру. К тому же он всегда был приверженцем строгого соблюдения правил игры и никому не прощал их нарушения. Это пристрастие он перенес на жизнь, в которой также хотел видеть ясность, смысл и присущее детским играм благородство. Он не заметил, когда перестал играть в жизнь и когда началась собственно жизнь, а если это верно, то он — разновидность Дон Кихота, характера симпатичного, но несчастного.

Да, все, что с ним произошло теперь, было зашифровано в детстве, и к детству надо было обратиться раньше: несколько лет назад надо было приехать сюда, выпить дедовского самогона, забраться на сеновал, уткнуться носом в духоту сена и вспомнить... А может быть, тогда ничего бы не вспомнилось? Может быть, не в сене дело и не в алом закате, что каждым мазком и полутоном в памяти навечно, как и все вокруг! Разве сотни раз не снился ему запах сена и цвет заката, и голос речки на перекатах, и он сам среди всего этого? Может быть, не в этом дело? А в пистолете, что давит на грудь, вдавливается в грудь, срывает дыхание и без того сегодня надорванное дедовским зельем?..

В детстве его не любили девчонки. Он не принимал их в игры. Его дразнили «задавакой». Девчонки интриговали против него. Но безуспешно. Он просто не считал их за людей. Они были для него бесполезной прихотью природы. Интерес, который он со временем начал проявлять к ним, сопровождался легким презрением, и он никогда не мог понять душещипательную литературу. В школьные годы Ромео казался ему дураком, в институте Вертер — шизофреником. Одна девушка сказала о нем в его присутствии: «Скучный, как бесконечное соло на контрабасе». Этот отзыв он принял с гордостью. Быть интересным для женщин — быть клоуном в глазах мужчин.

Любил ли он Ольгу? Он считал, что любил. То есть он относился к ней исключительно, как ни к одной другой. Но вот только сейчас он начал догадываться, что мог бы действительно любить ее, и это «мог бы», и все дальнейшее условно-сослагательное направление мысли, словно серым по пестрому, мгновенно омрачили его сентиментально-безбольное состояние и вернули, даже не вернули, а швырнули в реальность, которая в этот вечер милостиво отступила в глубину сознания, давая ему передышку, отдых, просто вздох прячущегося человека.

Сколько же ему осталось? Чего гадать! Нужно считать, что остался час, полчаса, десять минут! И тогда состояние готовности будет постоянным. Тогда не будет напряжения.

Продолжается жизнь. Или игра. Неважно! Нужно соблюдать правила до конца. И в этом выигрыш!

1. Пятеро

В комнате, необставленной и неуютной, с немытыми окнами и затертым полом, четверо ждали пятого. Он опаздывал. Общий разговор выдохся, и все сидели молча. Один, поглаживая темно-русую бородку, рассеянно смотрел в окно, другой пролистывал уже который раз от начала до конца какую-то потрепанную книгу, третий, развалившись в единственном кресле комиссионного происхождения, задумчиво ковырялся в часах. На старой кушетке полулежал четвертый. Одет он был хуже всех, точнее, небрежнее всех, был он небритый и невыспавшийся и даже непонятно, какой масти. Он один вписывался в эту комнату, потому что был ее хозяином. За двадцать пять рублей снимал он ее без телефона и ванной, без права на прописку, но зато с правом полной свободы в обращении с арендуемой площадью. Этим правом он пользовался уже несколько лет, и поскольку был холостяк и неряха, то как-нибудь взяться и привести комнату в приличное состояние было уже просто невозможно. Его упрекали и стыдили. Он каялся и обещал, но все оставалось по-старому. Привести бы сюда пару студенток — и комнату можно было спасти, но привести нельзя. Это явочная квартира. Конспирация же — превыше всего!

Пятью пять — двадцать пять. Пятеро складывались по пятерке и платили за квартиру. Правда, не у всех в нужный момент оказывалась лишняя пятерка. Именно у хозяина ее часто не оказывалось. Коля-хозяин жил на стипендию. От помощи друзей отказывался принципиально и лишь вынужден бывал позволить заплатить за себя квартирные. Платил Константин, тот, что сейчас сидел в кресле. Папаша его был известный в Питере босс и сыну в карманных деньгах не отказывал. Константин одевался почти шикарно, почти изысканно, манеры имел аристократические, голос артистический, и потому неудивительно, что казался чужим в этой компании, если, конечно, взглянуть на нее взглядом постороннего и неосведомленного. Если бы не было Константина, то, пожалуй, тогда столь же случайным в этой комнате показался бы Вадим, но не по одежде или внешности, хотя бородка была только у него. Трудно сказать, чем он выделялся, но если бы кто-то посторонний заинтересовался ими, то он обратился бы с вопросом именно к Вадиму. Да что говорить, посторонний мог бы не без оснований посчитать их компанию случайной, потому что и четвертый, Павел, рыжий, как из анекдота, тоже казался сам по себе...

Вот он захлопнул книжку и повернулся к Коле-хозяину, который мужественно боролся с дремотой.

— Слушай, ты время не перепутал?

Костя и Вадим тоже посмотрели на Колю. Он же лишь обиженно хмыкнул.

Пятый опаздывал. Это было настолько против обыкновения, что ни один из ожидающих не высказал и слова неудовольствия. Причина могла быть только уважительная. И когда Константин произнес: «Однако!», то в этом возгласе было лишь искреннее удивление необычным поведением «командора», абсолютная пунктуальность которого иногда даже попахивала снобизмом.

...Если бы их было четверо, компания развалилась бы давно. Но был тот самый, пятый — цемент и железо. Это благодаря его воистину таланту эти четверо, все разные до удивления, несколько лет были как один...

Происходило это не в девятнадцатом веке и не в начале двадцатого, а в самой его середине. Подпольная группа находилась в состоянии кризиса. Два года назад, когда разбрасывали первые листовки, ожидали назавтра бурю, а все обошлось случайными шепотками. Они были удивлены, обижены. Народ не услышал их или не захотел услышать. А они говорили ему правду о режиме, которая открылась им с несомненной очевидностью. Но крики никто не услышал, будто уши ватой заложили или воском залепили, или оглохли преднамеренно.

А они любили народ! Точнее, они очень хотели любить народ, хотя подозревали, что любовь эта будет без взаимности.

Шел не девятнадцатый век, а середина двадцатого, и они были не дворяне или разночинцы, а комсомольцы, но история повторялась, и они чувствовали это повторение, которое, как и всякое повторение, банально. Чувствовали, но из круга банальности вырваться не могли, и постепенно нагнеталось ощущение безысходности и обреченности.

Иногда они слышали, что где-то кого-то взяли и посадили за что-то подобное, и тогда с досадой стучали кулаками по столу, потому что опять прозевали и не увидели своих, а им так нужно было убедиться, что они не одни...

Шло время. Шалости уже не удовлетворяли. Оптимизм юности столкнулся с действительностью, которая не торопилась меняться и преобразовываться, народ не просыпался, и зарождалось сомнение, спит ли он.

Раньше, когда собирались вместе, сколько разговоров было, спорили как, до хрипоты, до обид. А вот сегодня уже почти час сидели молча. Ждали пятого. И ожидание было тягостным.

На исходе третьего получаса раздался, наконец, долгожданный условный стук в дверь. Колю смело с кушетки, и сна — ни в одном глазу.

Пятого звали Андреем. Он был худощав, высокого роста, темно-русый, с жесткими чертами лица. Он был не старше всех, но таковым казался. Мгновенным оценивающим взглядом он охватил всех, как офицер солдат перед боевым заданием. Никто ничего не сказал. Даже не поздоровались. Первым всегда говорил пятый.

Он подошел к свободному стулу, сел, нахмурился, отчего стал еще старше, молчал. Потом поднялся, подошел к столу, у которого были все четверо, поставил кулак на стол. Так он начинал говорить.

— Ничего не случилось.

Голос его был глухой, но без хрипоты, и такой же тяжелый, как его кулак.

— Ничего не случилось. Да и что может случиться с нами. Мы кроты!

Начало разговора было тревожным. Все смотрели на Андрея, но смотрели как-то сбоку, исподлобья, словно не смотрели, а подсматривали.

— Эти полтора часа я гулял по набережной Мойки. Несколько дней назад я решил сообщить вам очень важное. Но сегодня мне еще нужны были эти полтора часа.

Говорилось все это тоном человека, уверенного, что никто не усомнится в его праве и правоте. Никто не усомнился.

— Мы потерпели фиаско. Это сегодня ясно каждому. И причина одна — Россия не готова, мы преждевременные скороспелки. Продолжение нашей деятельности бессмысленно.

Теперь все смотрели на него удиленно.

— Мы никому не нужны. Мы смешны в своем желании кричать о том, что всем известно. Мы хотели рассказать о миллионах погибших, мы, однажды узнавшие об этом! А кому мы рассказывали? Тем, на чьих глазах все происходило! И даже те, что выжили и вернулись из лагерей,— вы же знаете, какую блевотину они выдают! Здесь что-то не так... Мы стучимся в каменную стену вместо двери...

Он пристукнул кулаком по столу, словно ставил ту самую точку, которая не получалась в словах. Потом заговорил другим голосом, незнакомым для его друзей.

— Понимаете, ребята, здесь какая-то тайна, задача из высшей математики, а мы решаем ее средствами таблицы умножения... Короче говоря, дело наше ликвидируется по причине отсутствия капитала!

Кроме Константина, все казались сконфуженными, даже растерянными, так неожиданны и странны были речи «командора». И когда Константин обнаружил желание что-то сказать, все повернулись к нему с надеждой.

— А чем жить будем? Делать карьеру?

Константин спрашивал не Андрея, который сидел, опустив голову, нахмурившись и адавив кулаки в стол. Константин спрашивал всех, и потому никому легче не стало.

Константин покосился на Андрея. Тот молчал, но в молчании была недосказанность, и «правая рука командора» почувствовал это.

— Все ли ты нам сказал, шеф?

— Не все,— ответил тот.— У меня есть вариант для самого себя. Пусть каждый подумает над своим вариантом. Может быть, произойдет совпадение.

— Чего тянуть, давай сразу! — выскочил Коля-хозяин.

— Нет! — ответил Андрей.— Я буду говорить последний. Так есть у кого-нибудь свой вариант?

Сначала было молчание. Потом тот, у окна, длинноволосый с бородкой, зашевелился смущенно, и все повернулись к нему.

— У меня есть варнант, но... он ни с чем не совпадает... я знаю... Я давно к этому пришел, но не говорил...

Андрей смотрел на него подозрительно, похоже, что он действительно на совпадение не надеялся. А тот колебался, краснел, почему-то хрустел пальцами.

— Ну... в общем... не знаю как и рассказать... В общем... я занимаюсь... это не то слово, наверное, ну, интересуюсь что ли... христианством... Это серьезно... Вот, собственно...

Он развел руками, виновато улыбнулся, оглядел всех так же виновато.

Общее молчание было лучшим свидетельством общего удивления. Даже у «командора» обычная жесткость выражения сменилась растерянным недоумением.

— Не понимаю,— сказал он.— Я интересуюсь йогами. Давно и серьезно. Ну и что?

— Это не то, Андрей,— как можно мягче ответил Вадим.— Мне трудно объяснить...

— Ты что, в Бога веришь, что ли? — напрямую, с глуповато-удиаленной улыбкой спросил Коля-хозяин. Коля не тянул на интеллект и мог позволить себе многое.

— Да,— чуть слышно ответил Вадим.

Сказал он это так, как застенчивые мальчики признаются своим друзьям во влюбленности, готовя себя к заведомому осмеянию. И еще сказано это было так, что всем стало неудобно, будто действительно вынудили друга сказать о чем-то чрезвычайно интимном, что нельзя принять всерьез, но и нельзя позволить самому даже усмешку. Потому никто не смотрел в глаза Вадиму. И он, покраснев, опустил глаза в стол. Даже «командор» долго не мог найти нужных слов.

— Не понимаю,— сказал он раздраженно.— Если речь идет о религии как социальном институте, несущем положительную мораль... я сам думал об этом. Если у тебя есть идея в этом смысле, выскажи, обсудим... Может быть, действительно можно использовать...

— Нет,— перебил его Вадим,— не то. У меня нет никакой идеи.— На его лице было выражение пытки.

— Идеи нет, а вариант есть,— отпарировал Андрей.

— Я же сказал, что это мой личный вариант, он ничему не мешает. Я же делал все, что и вы. Ты спросил, я ответил. Если ты хочешь предложить что-то новое, одно другому не мешает.

Вадим говорил уже спокойнее. К Андрею же вернулась его прежняя категоричность.

— Боюсь, что будет мешать,— сказал он жестко.

Коля-хозяин перегнулся через весь стол к Вадиму.

— Вадька, ты крестился, да?

— Отстань от него! — резко оборвал его Константин. Но Вадим ответил.

— Я крещен в детстве.

— Я тоже крещеный! — почему-то радостно крикнул Коля.

— Отстань, тебе говорят! — еще резче осадил Константин.

Тот, ничуть не обидевшись, отошел от стола, плюхнулся на кушетку. Константин повернулся к Вадиму.

— Ну, хорошо, Вадик, это, конечно, твое личное дело. Но знаешь... я не верю, что ты не связываешь этот личный свой вариант с какой-то, ну, скажем, перспективой... Или это просто уход от противоречий... Тогда можно понять... Ну, поясни же хоть что-то!

Вадим колебался.

— Нет, это не уход... Но, честное слово, у меня все еще, как чутье... я самому себе еще не все объяснил, но что это не уход, я уверен...

— Но разве религия не умирает во всем мире,— настаивал Константин,— если уже не умерла.

— Есть другое мнение,— осторожно ответил Вадим.— Но поверь, мне трудно говорить на эту тему.

Он беспомощно огляделся по сторонам. Напротив него в стене комнаты, что углом выходила во двор, были видны остатки двери, след давней перестройки дома.

— Смотри,— показал он туда.— Мы знаем, что за этой дверью ничего нет. Там улица. И вдруг, если бы мы ее открыли и обнаружили там зал и еще десятки комнат... Так и тут... Христианство — это целый мир, о существовании которого даже не подозревают...

— Ерунда все это,— сказал вдруг до сих пор молчавший Павел.

— Едва ли,— возразил Константин.

— Во всяком случае,— как бы подводя черту дискуссии, четко проговорил Андрей,— ясно одно: с Вадимом мы расстаемся.

— Андрей! — испуганно встрепенулся Вадим.

— Да,— отрубил тот и, обращаясь почти единственно к Константину, спросил резко: — Есть у кого-нибудь другие варианты?

Константин пожал плечами. Коля поднялся с кушетки, подошел к столу, всем своим видом показывая, что у него не может быть никаких вариантов, кроме тех, что предложит «командор». Павел сказал за всех: «Нет вариантов», — тем самым предоставляя слово Андрею.

Вадим сидел у окна в конце стола. Павел ближе к Андрею. Андрей обошел Паала, подошел к Вадиму. Лицо у Андрея было торжественно и строго. Вадим растерянно поднялся со стула.

— Вадим! — обратился к нему «командор», протягивая руку.— Спасибо тебе.

Смущенный и недоумевающий, Вадим принял руку Андрея.

— Ты был первым, кому я несколько лет назад высказал предложение создать организацию. Ты был верным товарищем. Наши пути расходятся. Поверь, я расстаюсь с тобой без упрека с моей стороны, надеюсь, и с твоей стороны упрека не будет.

Все это было сказано не без некоторой театральности, но только для тех, кто мог бы со стороны наблюдать и слушать. Достаточно было взглянуть на Колю-хозяина, у которого в этот момент задрожали губы, а глаза стали большущими и влажными, чтобы понять особенность стиля взаимоотношений друзей, чтобы поверить в безыскусственность кажущейся патетики.

Вадим почти крикнул, вырвав руку:

— Ты что же, прогоняешь меня! Я же не отказываюсь...

Но «командор» не дрогнул:

— Твой вариант расходится с моим.

— Андрей! — пытался перебить его Вадим.

— Да. Расходятся. Несовместимы. Ты меня знаешь, напрасно не скажу. И ты уйдешь сейчас. Мой принцип — лишнему лишнего знать не надо.

— Я лишний! — почти со слезами повторил Вадим.

— У тебя свой вариант, Вадик,— неожиданно мягко сказал Андрей,— ты проверь его, если не оправдается, ты скажешь мне об этом.

И, помолчав, добавил хмуро:

— Если к тому времени я сам буду в своем варианте.

Он снова протянул руку Вадиму, но тот не шелохнулся. Андрей взял его за рукав.

— Через пару дней я зайду к тебе. И мы еще потолкуем. Уходи, Вадик.

Вадим вздрогнул.

— Я уйду,— сказал он, не глядя на Андрея.— Но ты что-то делаешь неправильно, потому что я чувствую себя предателем. А это не так.

Андрей сам взял его руку, крепко сжал.

— Это не так! — Добавил нехотя: — Если ты действительно нашел свой вариант, поверь... я тебе завидую.

Вадим освободил руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Друзья слышали, как он быстро спускался с лестницы. На некоторое время в комнате наступила тишина, как вдруг раздался торопливый, нервный стук. Коля переглянулся с Андреем, пошел открывать. На пороге стоял Вадим.

— Храни вас Бог! — сказал он еле слышно и бросился вниз по лестнице.

Коля еще бы долго стоял с открытым ртом, но Андрей крикнул:

— Дверь!

— Ну и дела! — процедил Павел, барабаня пальцами по книжке.

Андрей взял стул Вадима, перенес его на свое место. Сел. Коля подтащил еще стул и тоже сел у стола. Все чувствовали себя погано и с облегчением вздохнули, когда Андрей начал говорить. А говорить он начал неуверенно, странно как-то, подыскивая слова, задумываясь над сказанным. Не узнавали друзья «командора», но слушали внимательно, может быть, чтобы избавиться от неловкости после всего, что произошло.

— Я сказал уже, что дальнейшая наша возня с листовками и прочее... все бессмысленно. Что-то мы не понимаем в ситуации, и получается, что мы ее насилуем... В сущности, что мы знаем? Что власть, которая претендует на идеал, преступна. Мы узнали это не из секретных документов, а из источников, всем доступных. Но реагируем почему-то только мы... Вот это «почему-то» нам, видимо, не разгадать. А не реагировать не можем. Не можем ведь, так я говорю?

— Валяй дальше,— буркнул Павел.

— Понимаете, между нами и всеми есть какой-то разрыв... Во времени или пространстве, не знаю. Только я знаю точно, что убивали людей, я знаю, что есть люди которые убивали...

Андрей умолк на мгновение. Константин пристально смотрел ему в глаза.

Андрей поднялся, прошелся по комнате, остановился в углу.

— Так вот, я считаю, единственное, что мы делать вправе,— это карать убийц!

— Как это — карать? Убивать что ли?! — ахнул Павел.

— Нет, не убивать,— твердо ответил Андрей,— а именно карать!

— Именем народа,— не без иронии подсказал Константин.

Но Андрей быстро подошел к нему, наклонился:

— Нет, Костя, как раз нет! Ты читал Киплинга, помнишь! Как там?

Константин пожал плечами, припоминая, что именно. Вопросительно произнес две строчки:

Если в риске ты поставишь
На орла, а выйдет решка...

— Нет! Нет! — перебил его Андрей.— То есть это, только дальше.

Константин подумал еще и уже уверенно, при этом, правда, будто заново вслушиваясь в знакомые слова, продолжил:

Если ты умеешь правду
Неподкупности и чести
Говорить царям и толпам.
Отвечая головой...

— Вот! — рубанул Андрей.— Вот! Отвечая головой. Ничьим именем, кроме своего! Так получилось, что мы не с царями и не в толпе. Известно, что за правду толпа растаптывала, а цари казнили. Часто это происходило одновременно. Похоже, что мы живем именно в такое время. И мы можем и должны действовать только от своего имени, и быть готовыми ответить за это головой. Таков мой вариант.

Он сел. Но вскочил Павел.

— Подожди! Я все-таки не понял. Как ты собираешься их карать?

— Смертной казнью, Паша,— печально пояснил за Андрея Константин.

— Убивать! — в ужасе произнес Павел.

— Ничего себе вариантик! — ошеломленно пробормотал Коля-хозяин.

Андрей молча смотрел на мечущегося по комнате Павла.

— Чем ты собираешься карать? — вполусерьез шепнул Константин.

— Вопрос второстепенный,— отрезал Андрей.

— Это точно,— с улыбкой согласился Константин и начал ковыряться в ободке часов.

— Слушайте, ребята! — взмолился Павел, разлохмачивая свои рыжие вихры.— Подумайте, о чем говорите!

Он обращался к Андрею и Константину одновременно. Коля был не в счет. Он, казалось, вообще выключился и только таращил глаза то на одного, то на другого.

— Листовки, демонстрации, пропаганда — я понимаю! Но убивать! Это же...

— Убивают людей,— холодно, почти враждебно отпарировал Андрей,— а карают убийц!

— Но это же только слова!

— Короче! — зло бросил Андрей.

Павел подошел к нему вплотную.

— Нет, Андрей, короче не будет! Не в фантики играть предлагаешь.

— Ты не прав, Андрюша,— сказал Константин.

— В чем? — резко повернулся Андрей.

— Сколько времени ты думал над этим вариантом?

— Два месяца,— четко ответил Андрей.

— А нам не даешь и пяти минут?

Андрей поиграл желваками.

— Хорошо. Сколько вам надо времени, чтобы подумать?

— Смотря кому,— спокойно ответил Константин.— Спроси каждого.

— Спрашиваю. Сколько времени нужно тебе, чтобы подумать?

Таким же невозмутимым тоном Константин сказал:

— Мне хватит того времени, пока ты будешь спрашивать остальных.

Андрей внимательно смотрел на него, точно пытался уловить что-то в интонациях или поведении друга. Обратился к Павлу.

— Сколько тебе нужно времени?

Павел стоял против него нахохлившийся, решительный.

— Если ты уже все решил и не хочешь обсуждать, то мне нисколько не нужно времени! Убивать я не буду!

— Так.

Они смотрели друг другу в глаза. Взгляд Андрея смягчился.

— Я знал, Паша, что мой вариант не всем подойдет, и допускал, что не подойдет никому.

Едва ли «командор» был искренен в эту минуту. Но продолжал:

— Не сердись! Каждому свое. Спасибо за прошлое!

Он протянул руку Павлу. Тот сразу скис.

— Андрей, пойми...

Но тот перебил его.

— Не нужно. Расстанемся друзьями! Извини, что напоминаю про клятву.

— Само собой,— пробормотал Павел, опуская глаза.

Сложив руки на груди, Андрей подошел к Николаю.

— Ну, а ты?

В этом вопросе не только не было надежды, но даже саркастически прозвучал сам вопрос.

Коля развел руками, пожал плечами, покрутил головой и сказал неожиданно для всех:

— Я, как ты... Ну, с тобой, значит...

Андрей не сумел скрыть удивления и даже руки опустил.

— Это что, серьезно?

— Куда ты лезешь, дура мамина! — заорал на него Павел.

Коля скосился в его сторону.

— Если ты боишься, так молчи!

— Я боюсь...— растерялся Павел.— Я не боюсь. И... по крайней мере это не главное.— Он вдруг начал заикаться.— Андрей, честное слово, дело не в этом! Ты веришь мне! Я не хочу никого убивать! Никого! Понимаешь!

— Верю! — ответил Андрей.— Даю тебе честное слово, что верю.— Он повернулся к Коле, с любопытством разглядывая его. — А ты, однако, чудной парень! — Коля глуповато и счастливо улыбался.— Не программированный! Все же подумай еще.

— Подумал,— буркнул Коля.

— Ну смотри!

Андрей подошел к столу, сел напротив Константина.

— Что скажешь, Костя?

Константин улыбнулся.

— Чего ж! Я — как Коля.

— Как я? — изумился тот.— Я с Андреем!

И поняв шутку, расхохотался.

Теперь все трое смотрели на Павла, который сидел на кушетке, уронив голову на руки.

— Нет,— прошептал он,— не могу. Если сейчас поддамся, потом жалеть буду.

Встал, подошел к Андрею.

— Прости, Андрей. Это не по мне!

— Прощай,— подал руку «командор».

Когда затихли шаги на лестнице, Андрей сказал:

— Итак, нас осталось трое! Это даже больше, чем я ожидал.

— Три мушкетера! — подхватил Коля.— Андрей, конечно, Атос, Костя — Арамис! А я?

Он жалобно посмотрел на друзей.

— Да,— сочувственно заметил Костя,— на Портоса ты как-то не тянешь!

Они долго смеялись, все трое. Смех был нервный.

Андрей взглянул на часы.

— Приступим?

Сели друг напротив друга.

— Есть такое место, Лемболово, знаете?

Кивнули. Андрей достал из внутреннего кармана пиджака тетрадь.

— Живет там один человек, Михаилом Борисовичем Колгановым именуется. Вот досье на него. Показания четырех человек. Записал со слов. Прищемлял пальцы, прижигал губы спичками, бил ногами, пытал голодом, таскал за волосы женщину — и прочие подвиги. Сейчас подполковник на пенсии. Заядлый цветовод.

— Семья есть? — осторожно спросил Константин.

— Ну и что? — ответил Андрей.— У тех тоже были семьи.

— Конечно... Это я так. Интересно, какие у него потомки.

— Не знаю. Можно поинтересоваться,— неуверенно предложил Андрей.

— Да ну их!

— А как?.. Чем? — спросил Коля.

— Нам нужен всего один пистолет. И через...— Андрей взглянул на часы,— через четыре часа мы будем его иметь!

Снова полез в карман, достал лист бумаги, сложенный вчетверо, распрямил, положил на стол.

— Смотрите. Это Суворовский, это Старо-Невский, это 2-я Советская. Узнаете? Вот из этого дома в одиннадцать или около этого выйдет участковый. Он пойдет сюда... Здесь поворот. Тут мы его и возьмем!

— Как возьмем? — испуганно спросил Коля.

Андрей усмехнулся.

— Не бойся, убивать не будем. Удар в солнечное, пистолет из кармана... три минуты пробежать двором вот сюда... дальше в разные стороны. Я с пистолетом к автобусу. Если его не будет, хотя должен быть, тогда напрямую на Старо-Невский. Встретимся завтра здесь. Вот и все. Срыва не должно быть. Я месяц все это вынюхивал. А теперь небольшая репетиция...

Когда расходились, Андрей задержал Константина у подъезда.

— Костя, скажи, ты действительно все обдумал или просто пошел за мной? Только честно.

Константин вздохнул.

— Если честно, то... просто пошел за тобой.

У Андрея погрустнели глаза.

— А что мне оставалось делать, Андрюша! Мой дорогой папаша, ты знаешь, партийный босс, и не вчера он им стал. Значит, причастен. Да и сам я комсомольский активист... Как-то я должен искупать семейную пакость.

— Но ты-то можешь отказаться... Не силой тянут. Извини, я верил тебе и никогда не говорил на эту тему.

Константин прислонился спиной к стене, запрокинул голову.

— На факультете меня называют идеалистом. Жалко, Андрюша, расставаться с идеалом! Такие хорошие и красивые слова! Ведь не может же быть, что все ложь! Сотни поколений... миллионы жертв... Разве может зло принимать такую соблазнительную форму! Взгляни на историю — сплошная ненависть и вражда. Коммунизм — это идея братства, всечеловеческого братства...

— А что получается? — мрачно вставил Андрей.

— А, может быть, просто не получается? И если нет мечты, нет идеала, для чего жить! Вот Вадим нашел вариант. Бог! Тебе это о чем-нибудь говорит?

Андрей махнул рукой.

— И для меня тоже это только символ несостоявшегося идеала. Может быть, я чего-то не знаю... Послушай, давай как-нибудь сходим, поищем умного священника, послушаем их аргументацию!

— А есть ли они, умные? — усмехнулся Андрей.

— Должны быть! Были же раньше.

— Посмотрим, может, и сходим... Хотя, откровенно говоря, меня это не вдохновляет.

— А все же любопытно... Что же до моей активности,— продолжал грустно Константин,— то получается, что я попутно проверяю идею отрицанием и утверждением... Ты же не осуждаешь меня.

— Нет.

— Ну и хорошо. А на остальных мне наплевать!

Андрей вдруг хлопнул его по плечу, отошел на шаг, оглядел с головы до ног, рассмеялся:

— На вид — стиляга, официально — активист, неофициально — подпольщик! И впрямь святая троица!

Константин ответил серьезно:

— Да, я понимаю, в этом есть что-то противоестественное, может быть, даже аморальное...

— Чепуха! — оборвал его Андрей.— Вот я уверен, что ты никогда не предашь, а более ценного человеческого качества я не знаю.

Они пожали руки и разошлись до вечера.

2. Осечка

В десять вечера Андрей сидел на скамейке в маленьком парке на Суворовском проспекте. Сидел, закинув руки на спинку скамьи в позе молодого бездельника, которому даже на прохожих смотреть лень. Чувствовал себя на удивление спокойно. Даже ни тени волнения. За месяц он многократно представлял себе все, что должно произойти через час, и была абсолютная уверенность в удаче. За три года ему приходилось осуществлять и более дерзкие операции.

Был теплый июньский вечер. С Невы потягивало прохладой. Где-то рнемник не очень громко выхлопывал итальянские ритмы.

У скамейки, чуть покачиваясь, появился «интеллигент». Посмотрел на Андрея и плюхнулся рядом.

— Млеешь? — спросил он.
— Что? — не понял Андрей.
— Млеешь, говорю?
Андрей враждебно покосился на него.
— Созерцаешь проходящих женщин?
— Точно! — с откровенной злобой ответил Андрей.
— Не ершись! — упрекнул «интеллигент».— Созерцать женщин — самое благородное занятие для мужчины!
— Самое? — переспросил Андрей, явно задираясь.
— Если без похоти,— ответил «интеллигент», не обращая внимания на тон Андрея,— женщина — это главное чудо мира! Это его самая непостижимая тайна!
— Самая? — сбросив агрессивность, спросил Андрей.
— Тсс! — «Интеллигент» наклонился к Андрею.— Смотри! Смотри!
Мимо проходила молодая пара.
— Смотри на нее! На него не смотри! Он глуп в своем самодовольстве. Смотри на нее!
— Смотрю,— согласился Андрей, действительно рассматривая красивую, улыбающуюся девушку, которой что-то нашептывал парень.
— Ну! — накинулся на Андрея незнакомец, когда парочка прошла мимо.
— Ну? — ответил Андрей.
— Что ты видел?
— А ты?
«Интеллигент» отстранился от Андрея, презрительно окинул его взглядом.
— Тупица! — сказал он.
«Надвинуть ему шляпу на нос?» — подумал Андрей, но не шевельнулся.
— Ты сейчас видел улыбку счастливой женщины! — провозгласил незнакомец.
— Ну и что?
— А знаешь ты, что такое улыбка счастливой женщины?
Андрей развел руками.
«Интеллигент» снова пододвинулся к нему.
— Слушай и постигай! Улыбка счастливой женщины — это прояление, это мгновение мировой гармонии! Улыбка счастливой женщины — это осуществление мировой гармонии! Слушай! Люди ломают голову над тем, что такое истина, справедливость, правда... Вот ты знаешь, что такое правда?
— Не знаю! — с любопытством усмехнулся Андрей.
— А истина? Во! А ведь хочешь знать! Я скажу тебе!
«Интеллигент» почти повис на Андрее.
— Истина — это улыбка счастливой женщины!
— И все? — иронически заметил Андрей.
— Все! — торжественно ответил философ.— Она же есть правда и справедливость! Она же есть и высший смысл бытия! Знаешь ты, почему в мире все так неладно?
— Не знаю!
— Потому,— палец философа качался у самых глаз Андрея,— потому, что мужчины устраивают мир во имя свое! А все проще, но труднее! Мир надо устраивать во имя женщины! И счастливая улыбка женщины — высший и единственный критерий действия!
Он наклонился к самому уху Андрея.
— И революций не надо! Тсс! И на душу населения... не надо!
Он захихикал и закашлялся. Пальцем стукнул Андрея по груди.
— Мы, мужчины, твари, отчужденные от мирового смысла! Выпали, да! Сами по себе! Женщина — в самом венце его! Статистика чем занимается? Чушь! А надо? Провели мероприятие, подсчитали счастливых, сравнили! Плохо? Хорошо? Философы, политики о чем пишут? А надо сравнивать и выбирать! А что выбирать и сравнивать?
— Улыбки счастливых женщин! — подсказал Андрей.
— Только! Только! — резюмировал «интеллигент».
— Ну, что ж! Это тоже вариант! — усмехнулся Андрей и увидел приближающегося Константина.— Когда власть потерпит фиаско и призовет тебя на помощь, присоединюсь!
— Циник! — буркнул презрительно тот вслед уходящему Андрею.
С Константином они прошли к концу сквера. Там уже топтался Коля. Андрей взглянул на часы:
— Порядок! Пошли!
Старинный петербургский дом арочной колоннадой выступал к углу, заглотнув тенью кривой треугольник перекрестка. От одиннадцати до одиннадцати тридцати углом прошло человек десять. Не те. Андрей на другой, освещенной стороне стоял как вкопанный, ничем не выказывая беспокойства. Но вот он подал условный знак. Быстро перешел перекресток, и там они заняли позицию, заранее обдуманную Андреем. Когда милиционер поравнялся с ними, Коля и Константин одновременно схватили его за руки, а Андрей в то же мгновение ударил его снизу в солнечное сплетение. Милиционер охнул и повис на руках у всех троих. Андрей рванул френч, рубашку, так что затрещали швы, из-под мышки, из самодельной кобуры, выхватил пистолет. Коля и Константин отпустили милиционера, и он со стоном сполз на тротуар. Андрей сунул пистолет во внутренний карман пиджака, но тут же, вскрикнув, пластом рухнул на спину. Милиционер остервенело выкручивал ему ногу. Андрей завертелся, пытаясь вырваться или хотя бы спасти ногу от перелома.
— Что стоите! — закричал он остолбеневшим напарникам. Они кинулись на милиционера, пытаясь оттащить его, но тот не отпускал ноги Андрея, хотя крутить и перестал. Андрей изогнулся. Рука сама потянулась к пистолету. Перехватив его за ствол, Андрей резко, наотмашь ударил и попал по руке Коле. Коля вскрикнул и отпустил милиционера, который тотчас же воспользовался этим и боднул головой склонившегося Константина. Удар пришелся в челюсть, Константин отшатнулся, оступился с тротуара и упал. Но в это же мгновение Андрей, вновь изогнувшись, рискуя поломать вывернутую ногу и чуть не теряя сознание от боли, наотмашь ударил уже пытавшегося подняться милиционера. Андрей не только услышал, но рукой почувствовал хруст. Дальше все прошло по плану.

Встретиться они должны были в пять на квартире. Но в перерыве после второй лекции в коридоре напротив аудитории Андрей увидел Колю. Быстро спустившись по лестнице, у выходной двери Андрей резко повернулся, и Коля, еле поспевавший, чуть не налетел на него. Андрей был в бешенстве.
— Ты зачем здесь! Кто разрешил!
— Знаешь,— еле выговорил Коля, оглянувшись, сглотнув слюну,— ты... мы... это... в общем, убили мы его...
Злость на лице Андрея сменилась угрюмостью. Глядя Коле прямо в глаза, он ответил устало:
—Знаю.
— Откуда? — прошептал Коля.
— Я знал это еще вчера.
Пухлые Колины губы задрожали. Он швыркнул носом, отвел глаза.
— Это я! Понял! Вы ни при чем!
— Да я ничего...— начал оправдываться Коля.
— Кончай! — оборвал его Андрей.— Позвони Косте, что встреча отменяется. Приведите в порядок одежду. Чтоб никаких следов! Если будет что-нибудь новое, связь через Костю. Никаких встреч!
Добавил уже другим голосом:
— И постарайтесь не хныкать! Духом не падайте! Произошла осечка. Но мы с лихвой искупим! Понял?
Не очень уверенно Коля кивнул головой.
— Все.
Когда Андрей пожал ему руку, Коля скривился.
— Чего ты?— спросил, нахмурившись, Андрей.
— Руку... Ты вчера мне по ней саданул,— как бы оправдываясь, объяснил Коля. Задрал рукав пиджака и рубашки, показал: ниже локтя большой синяк.— Трогать больно...
— Сходи к врачу, может, трещина.
— Да нет, зашиб просто. Трещина была бы — рукой не шевельнул бы. В детстве было такое...— почему-то радостно затараторил Коля.
— Ну ладно, уходи. Да носа не вешай!
Коля убежал.
Андрей поднялся наверх, зашел в аудиторию, взял тетради. В дверях столкнулся с деканом, но даже не поздоровался, прошел мимо. Декан удивленно посмотрел ему вслед.
На улице долго о чем-то раздумывал. Потом достал деньги, пересчитал. Свистнул проходящему такси. Сел на заднее сиденье. У метро «Нарвская» расплатился. Нашел свободную телефонную будку, набрал номер.

— Вадим, это я. У тебя есть кто-нибудь? Тогда выйди. Есть время? Порядок.
Вадим появился встревоженный.
— Что-нибудь случилось?

— Ничего,— спокойно ответил Андрей.— Просто захотел увидеть тебя. Поговорить... надо...

— Ну, слава Богу,— облегченно вздохнул Вадим.— Я не ждал твоего звонка... по крайней мере сегодня. Подожди, я сбегаю, газ выключу. Отец спит.

— О твоем варианте поговорить хочу,— сказал Андрей, когда Вадим вернулся.

Они пошли переулком в сторону от многолюдного проспекта.

Долго шли молча.

— Вот что скажи, Вадим,— наконец решился Андрей,— как ты со своим вариантом в мире зла жить собираешься? Если я правильно понимаю, он начисто исключает борьбу? Праведность для себя — ведь это самовыключение из неправедного мира? В общем, расскажи мне о своем варианте.— И осторожно добавил: — Конечно, если можешь. И что можешь.

С каким-то отчаянием Вадим ответил:

— Боюсь!

— Чего?

— Не со мной бы надо тебе говорить! У меня же все только в чувстве, я еще не все словами определил...

— Но я же не прошу обращать меня!— возразил Андрей.— Я просто хочу понять тебя. Говори как можешь. Если и не пойму,— ничего страшного! Я не хочу с тобой спорить. Я хочу только послушать тебя.

— Я попытаюсь,— неуверенно ответил Вадим.

Еще некоторое время шли молча.

— Жизнь ведь ничтожна во времени... Так? Но человеку дано понимание вечности. Откуда? Это же парадокс... А бесконечность! Можешь ты себе ее представить? Параметры не нашего бытия!

— По Канту шпаришь! — усмехнулся Андрей.

— По Канту? Нет. Едва ли... Не читал. Скучно...

Живо повернулся к Андрею:

— А правда! Истина! Мы с тобой сколько эти слова мусолим! Ведь никто не знает конкретно, что это такое!

— Улыбка счастливой женщины! — пробормотал Андрей.

— Что? — не понял Вадим.

— Извини, я так... Продолжай.

— Я хочу сказать, что каждый ищет смысла этих слов, но не находит... А ведь в сознании-то нашем есть, понимаешь, есть понятия правды, истины... Они будто даже не в нас, эти понятия, а над нами, а мы только головы задираем да на цыпочках тянемся...

— Ты гений, Вадик! — весело рассмеялся Андрей.— Платона ты ведь тоже не читал!

Вадим насупился. Замолчал. Андрей взял его за локоть:

— Больше не буду! Мне интересно, честное слово!

Вдруг закрутил головой.

— Подожди минуту.

Подскочил к какому-то парню.

— Есть закурить?

Парень нехотя достал пачку сигарет, небрежно протянул Андрею.

Андрей попросил спички и, не поблагодарив, вернулся к Вадиму. У того даже горло пересохло от удивления:

— Андрей, случилось что-нибудь?

— Нет,— ответил Андрей, затягиваясь глубоко и с удовольствием.— Разве я не имею права вести себя парадоксально?!

Юмора, однако, не получилось, и Вадим с еще большей тревогой смотрел на Андрея.

— Ну, хорошо,— сбивчиво заговорил Андрей,— вечность, бесконечность, правда, истина, добро, зло — параметры чего-то иного, чем мы. Назовем его Богом. Что меняется от этого в нашей жизни?

Вадим пытался было что-то сказать, но Андрей вдруг схватил его за плечо, остановил, заговорил громко и зло:

— А хочешь другую философию! У тебя кошка есть дома? Кошка, говорю, есть?

— Есть,— испуганно ответил Вадим.

— У твоей кошки одна цель — жить. Когда она хочет есть, она мяучит, когда ей холодно, она мяучит. А когда она сытая, что она делает? Мурлычет! А можешь ты мне объяснить, что это такое? В мурлыканье нет жизненного смысла. Это издержки бытия. Так вот слушай, доморощенный Платон, так называемая интеллектуальная жизнь человека, в которую входит и религия, есть мурлыканье высокоразвитого животного! Мурлыканье! Всё! И ничего больше!

— Что ты говоришь, Андрюша! — крикнул Вадим так громко, что оглянулась проходящая мимо женщина с пучками моркови в сетке.— А разум!

— Разум? — вдруг обрадовался Андрей, словно ждал этого вопроса.— Разум — это шестое чувство самосохранения. У кошки их пять, у волка пять, а у человека шесть. То, что ты называешь разумом, развилось в человеке в связи с выпадом его из общей системы природы, где достаточно пяти чувств. Гипертрофия этого шестого чувства породила так называемую интеллектуальную жизнь, как ожирство порождает жировые наслоения. Жирному тепло, но он может и задохнуться от жира. Так и человек! Да! Именно так! Разум сохраняет жизнь и губит ее! Булка хлеба и атомная бомба — продукт хитрости-разума! Кошка не контролирует свое мурлыканье, оно непроизвольно. Творчество человека — тоже! Спроси меня еще, что такое искусство, и я отошлю тебя к твоей кошке, которая играет с мышью, когда сытая! Хочешь формулировочку! Искусство — это...

— Не надо, Андрей!

— Надо! Боишься! А может быть, я говорю тебе ту единственную правду, которую человек не только боится, но и не хочет знать! О чем я? А! На-ка, проглоти! Искусство — это побочная функция нормально функционирующего живого организма! Каково! Эта функция присуща всем живым существам в соответствии со степенью их развития!

— А поэты, умирающие от чахотки!

Вадим покраснел от волнения.

— Например, кто? — злорадно спросил Андрей.

Вадим растерялся.

— Чахоточники и язвенники, Вадик, занимаются политикой, самым гнусным вариантом мурлыканья! Или тебе еще рассказать про комплекс неполноценности, чтобы ты не вспомнил про слепого Гомера и горбатого Эзопа! Человечество живет по тем же законам взаимопожирания и самовыживания, что и весь мир, идея же Бога, как и все прочие идеи — это опыты коллективного самоконтроля, попытки регулирования взаимопожирания!

Сигарета сама догорела в его руке, он еще попытался затянуться, но обжег пальцы, отшвырнул окурок. Он упал к ногам мороженщицы, она что-то закричала им обоим. Вадим поспешно затянул Андрея за угол, там они свернули в арку большого дома, вышли во двор, остановились. Во дворе никого не было.

Андрей успокоился, снова стал самим собой, в глазах погасла лихорадочность, движения стали сдержанными, лицо застыло в привычной маске твердости и уверенности. Таким знал его Вадим. Почти таким.

Что-то новое появилось в глазах «командора». Новое было тревожным. Не добрым. Иначе не приковывало бы взгляда...

— Понимаешь, Вадик,— уже спокойно сказал Андрей,— я не вижу аргументов против того, что наговорил тебе. Хотел послушать тебя, а разболтался сам... Этот разговор был не нужен вовсе.

Вадим ответил ему с грустной уверенностью:

— У тебя что-то случилось. Серьезное? Не хочешь говорить, не нужно. Только... если это то, что я думаю...

— Ну,— разрешил Андрей.

— Ты остался один?.. Я имею в виду твой вариант...

— Нет, я не один,— сказал Андрей, и тон означал, что тема исчерпана.— Я уезжаю. Надолго. Кое-кто из наших, возможно, тоже уедет. Постарайся с ними не встречаться. Так надо.

Вадим робко спросил:

— Чем-нибудь я могу... помочь тебе?

Андрей помолчал.

— Можешь. Новый телефон Ольги у тебя есть?

Вадим торопливо рылся в записной книжке.

— Есть. Записывай.

— Говори.

Вадим вспомнил, что Андрей никогда не записывал телефоны. Это была часть его системы

Оба они расстались с предчувствием, что виделись последний раз.

Минут пятнадцать стоял Андрей у телефонной будки, пропустил очередь раз пять. Затем вошел. Набрал номер. Телефон Ольги был занят. Он повесил трубку и пошел прочь.

3. Телефоны

Прошло пять дней. На шестой вечером в квартире Константина зазвонил телефон. Сначала его никто не услышал, так было шумно. Потом девица в голубом платье пропищала:

— Костик, да телефон же!

Константин вышел в коридор. Снял трубку. Вяло ответил.

— Костя, это я, привет!

— Коля?

Обрадованный, что узнан, Коля захихикал.

— У тебя ничего?

— Ничего,— ответил Константин.

— У меня тоже... все тихо.

Коля покашлял в трубку. Разговор не клеился.

— Знаешь, я сидел, сидел в своей комнате, что-то тошно стало.

— Откуда звонишь?

— Из будки. На углу которая. Я тебе помешал?

— Да нет...

Коля усиленно сопел в трубку.

— Слушай, Кость, если я спрошу, ответишь честно?

— Спрашивай,— сказал Константин, вздохнув.

— Ты... это... ну... ведь презираешь меня? Да?

— Чего? — изумился Константин.

— Ты не отпирайся, Костя! Я знаю! И вообще это правильно...

Константин закричал в трубку:

— Ты чего там мелешь! Выпил?

— Нет! Честное слово, нет! — заоправдывался Коля.— Ты только подожди, не бросай трубку, я хочу сказать, поговорить... по-другому-то ведь не получится, по телефону только... А я не выпивал, честное слово! Мне нельзя выпивать, у меня язва двенадцатиперстной кишки... Спирт только можно немного. А где его возьмешь... Дорогой... А вина нельзя, сразу кишки резать начинает... и острого ничего нельзя... огуречный рассол, например, вкуснятина, а нельзя.

Коля тараторил.

— У тебя язва? — рассеянно спросил Константин.— Я не знал...

Наверное, никто не знал.

— Слушай, Костя,— продолжал Коля торопливо, словно боялся, что не успеет сказать, что его не дослушают...— Знаешь, я думал, что не люблю тебя! Правда! Я так думал! А вот сегодня сидел и понял, что я просто завидовал, как самый последний подонок завидовал... Я тебе все скажу, понимаешь, мне надо сказать... Помнишь, юбилей наш отмечали, ты колбасы принес, я такой в жись не видел... сервелат называется. У меня потом всю ночь кишка болела, я еще выпил тогда... за юбилей... И я тебе завидовал... У тебя костюмы всякие... и я тоже завидовал. Я когда один, учился говорить, как ты, ну так, с юмором, у меня ничего не получалось, и я тоже завидовал... Ты этого не знал, но ты презирал меня... и правильно! Я подонок... был...

— Подожди, Коля, подожди! — пытался остановить его Константин, стараясь справиться с чем-то досадным в себе, что появилось, захватило, жгло...

— Нет, нет, я еще не все... Когда Андрей вариант свой сказал, я испугался, но я назло тебе согласился... Нет, не так... Я думал, ты не пойдешь. Я себе сказал: «Он не пойдет, а я пойду!» А ты тоже... Мне, честное слово, стыдно! Потом ты говорил, что в комнате свинство... Это ты правильно. Человек всегда должен быть аккуратным, но ведь, понимаешь, я еще в кочегарке работаю, сорок восемь часов в неделю. Накидаешься лопатой, придешь, руки не поднимаются, и зубрить надо... Не, я не оправдываюсь... То есть я пытаюсь оправдаться, чтоб ты понял... Знаешь, я решил, если все... ну... пройдет хорошо, я по-новому жить буду! У нас теперь неизвестно как будет, так я решил... чтобы на душе чисто было, вот...

Он снова засопел в трубку.

— Ты все сказал? — Голос у Константина дрожал.— Теперь я скажу. Слушай! Ты отличный парень, понял! А я всего-навсего сытый пижон! Я не презирал тебя, но я был хамом! Если все пройдет, мы будем друзьями! Ты веришь мне? Алло!

— Кость! Что мы натворили! А!

Эта фраза прозвучала так, что у Константина мурашки по спине пробежали.

— Да,— глухо ответил он. И вдруг впервые отчетливо понял весь смысл случившегося и еще — что́ не обойдется! Что с того вечера жизнь его поделена надвое, и в середине — пропасть. И возврата нет! Еще ему показалось, что на том конце провода очень близкий ему человек, очень нужный ему человек...

— Слушай, Коля,— сказал он торопливо и взволнованно,— давай приезжай ко мне! Хватай такси и езжай! Есть у тебя на такси?

Коля сопел.

— Не надо, Костя.

— Почему? Чего ты?

— Все будет не так. По телефону лучше. Давай лучше еще поговорим!

— Зря ты! Я бы всех разогнал, и посидели бы вдвоем!

— А кто у тебя? — спросил Коля с детским любопытством.

— Да гости... Три девицы высоких папаш, несколько перспективных аспирантов и один известный музыкант...

— Ух ты! — восторженно прокомментировал Коля. Затем застонал: — Вот видишь, я опять завидую! А чего они делают?

— Сейчас? Сейчас одна дева, закатив глаза, нашептывает Пастернака.

— Декадентка? — спросил Коля серьезно.

— Нет,— пояснил Константин,— ей замуж нужно.

— Конечно, чего одной-то жить!

— Что? — переспросил Константин.

— Я говорю, понять можно. Каждой женщине детей охота иметь и чтоб семья...

— Коля, у тебя есть враги?

— Какие враги? Если... ну, ты же знаешь...

— Нет, личные враги, я имею в виду. Есть кто-нибудь, кого ты ненавидишь?

Коля недоуменно хмыкнул.

— Не знаю... Мне зла никто не делал... Больше сам по глупости всегда.

— А девушка у тебя есть?

Коля замолчал. Константин с грустью сказал:

— Как же так получилось, что мы три года дружим и ничего не знаем друг о друге?

Коля молчал. Потом сказал печально:

— Ну, пока, Костя!

Тот испугался.

— Ты что, Коля! Обиделся...

— Нет, нет,— залопотал он,— замерз, в рубашке выскочил. Я еще позвоню, Костя!

— Звони! Слышь, обязательно звони!

— Ну, пока...

Телефон запищал. В гостиной известный музыкант играл Шопена.

В тот же вечер и в то же время состоялся другой телефонный разговор.

Вадим долго пробивался к Ольге. Телефон был занят. Наконец ответила.

— Бессовестный,— сказала она ему грустно.

— Оля!

— Конечно, я знаю. Я всегда была для тебя приложением к Андрею. А перестав им быть, перестала существовать! Через полгода чего же ты вдруг вспомнил обо мне?

Чертовски неприятная правда была в ее словах.

— Мне нечем оправдаться! — сказал он очень искренне.

— Поздравь меня, Вадик, я кончила училище.

— Поздравляю!

— Спасибо. Еще поздравь.

— Ну?

— Я поступила в консерваторию.

— Ты молодец, Оля!

— Видишь, как удачно и счастливо устраивается моя жизнь! Так что же ты позвонил мне? Впрочем, можешь не говорить, я знаю.

— Не знаешь.

— У Андрея что-то не так? Ему плохо? Верно?

У Вадима язык отнялся. Она горько усмехнулась.

— Вы почитаете себя сложными, многоплановыми натурами, вы носитесь со своей сложностью, как... Господи! У вас же всегда одна и та же константа — эгоизм! Ну говори же, эгоист, что случилось с твоим другом, эгоистом трижды и без предела!

Она говорила спокойно или старалась говорить спокойно. И все же Вадим чувствовал, что разговор ей небезразличен

Так и должно быть, он ведь много знал! Но как сказать ей и что сказать!

— Ты права, Оля, ему плохо. Но, конечно, я звоню по своей инициативе.

— Ясное дело! Андрей умеет подбирать чутких друзей!

— Не нужно так говорить о нем, Оля, ты...

— Но можно! — перебила она его.— Андрей — дурной человек! Да! Молчи! Я имею право это говорить! Ну, подумать только! Как много вокруг лучше его, мизинца которых он не стоит! Сколько добрых и благородных людей, любить которых было бы счастье, твердое, уверенное счастье! Почему же все так дурацки устроено в жизни? Ты умный и рассудительный, скажи, почему? Впрочем, скажи лучше, что с Андреем!

— Кроме того, что ему плохо, я ничего не могу тебе сказать. Поверь, я сам не знаю!

Она ответила ему с досадой:

— Раньше ты не лгал, Вадим!

— И сейчас не лгу. Я больше не посвящен в его дела. Кое-что изменилось...

— Разругались?!

В голосе был испуг.

— Нет. Я не могу тебе объяснить, но мы не ругались. Я видел его пять дней назад. Ему было плохо. Он попросил твой новый телефон. Но ты не звонила мне, и я понял, что он тебе тоже не звонил.

— Почему я должна была звонить тебе? — удивилась она.— Ну, конечно, ты прав! Я позвонила бы тебе, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности, ведь от него я бы ничего не услышала! «С женщиной говорят о любви, когда любят, и ни о чем, когда равнодушны. О делах не говорят никогда!» Это тебе знакомо?! Демагог проклятый! Сколько горя он мне принес! Вадик, милый! Скажи, за что ты ему так предан? Ведь он никого не любит! Он если держится за кого, так только пока тот дышит его воздухом!

— Нет, не так! — горячо возразил Вадим.— Я задам тебе тот же вопрос: за что ты его любишь до сих пор?

Вадим ясней ясного увидел ее лицо и слезы на глазах. И не ошибся. Слезы были в голосе.

— Не знаю! Не знаю! Он измучил меня! Я во сне сколько раз хлестала его по щекам! Но он и во сне мучил меня, я и во сне разбивалась об него, как о стену! Он ни разу не приснился мне улыбающимся или ласковым! Знаешь, Вадим, я уже думала, что, может быть, это не любовь, а вариант неврастении. Я к психиатру ходила, Вадик! Он высмеял меня, такой же толстокожий чурбан! Чего же ты хочешь от меня? — вдруг почти закричала она.— Чтоб я пошла к нему, чтоб он снова чванился передо мной, а потом прогнал! И ты такой же! Только прикидываешься добрым! Разве это не жестоко, звонить мне, когда я, быть может, только в себя пришла?! И все снова? Разве не жестоко толкать меня на унижение! Как ты можешь! Ты такой же, как он! Эгоисты проклятые!

Она бросила трубку на стол. Вадим слышал ее рыдания, молча кусая губы.

Прошло больше минуты. В трубке зашуршало.

— Прости, Вадик! Я становлюсь кликушей.

Она всхлипывала, шмыгала носом.

— Оля, я все понимаю, но, честное слово, я почему-то уверен, что рано или поздно у вас будет все хорошо.

Она отвечала, все еще всхлипывая.

— Поздно хорошо не бывает! Поздно — значит поздно... Это только плохо! Боюсь, что поздней уже некуда! Я не пойду к нему, не проси! Будь он проклят!

Вадим говорил мягко, но убежденно.

— Оля, таких, как Андрей, мало. Я лично не знаю никого. Когда-нибудь ты это поймешь. И еще я знаю, что он любит тебя.

— Нет, Вадик,— устало ответила она,— он никого не любит. И меня. Я бывала ему нужна... и все. Я не пойду к нему!

Вадим помолчал.

— Хорошо, не ходи. Но обещай мне, что если он придет сам, ты будешь терпелива! Поверь, я знаю его много лет. Таким видел впервые!

— Все только о нем и о нем! А на меня тебе наплевать!

— Ну, не нужно так! — уговаривал он ее.— Я к тебе очень хорошо отношусь! А что не звонил, ну, ты только подумай сама, что мог я сказать тебе?

— Что? — с обидой закричала она.— Что сказать! Да хотя бы, что он жив, что здоров, что не попал под трамвай, не подрался с милиционером, что его не выгнали из института, что он есть на свете еще, подлый он человек! Сказать тебе нечего было! Эх ты!

И она бросила трубку.

К Константину пришли утром, назавтра после Колиного звонка. Отец с матерью уже уехали на работу. Немного позднее Константин подумал, что в этом смысле ему повезло. Он не увидит их шока.

Пришли пятеро. И еще понятые. Предъявили ордер на арест и обыск. Константин держался спокойно. Оказалось, что он внутренне готов... Покоробило, когда обшаривали, когда рылись в личных вещах, в бумагах. Когда осматривали сервант, уловил недобрую ухмылку в лице сотрудника. При-

знал ее справедливой. И действительно, к чему семье из трех человек семь наборов рюмок и бокалов! И все прочие сервизы! И фарфор в бессмысленном количестве...

Битком набитый холодильник тоже вызвал хмурое движение бровей. Вполоборота к Константину один спросил его:

— Чего не хватало? А?

— Птичьего молока! — ответил другой, шаривший в гардеробе.

В этот момент Константин позавидовал Коле. Тот при обыске сможет спокойно смотреть всем этим в глаза. Подумал: «Как Коля? Тоже уже?» Удивился, что его совсем не интересует, как до них добрались. Еще оказалось, что другого исхода он и не ожидал. В каком-то смысле даже будто легче стало.

Подумал об институте, как о чем-то очень далеком в прошлом. Мир словно замкнулся этой комнатой, где сновали чужие, враждебные люди, за стенами же словно пустота образовалась и отделила его от всего прочего, потускневшего, помельчавшего, ставшего чужим. Из окон доносился шум уличного движения, но воспринимался, как падающая звезда, без всякого отношения к нему, Константину, тоже не то уже не живущему, не то спящему, не то бредившему наяву... Взглянул на часы. Захотелось их остановить. Но остановить нельзя. Пружина должна раскрутиться до конца. Подумал — разбить? Бравада! Вспомнил, что у Коли часов не было. Он надоедал, спрашивая время. А в столе лежали еще одни часы — подарок отцовского друга-сослуживца. Стыдно стало. Да! Ему было бы совсем спокойно, если бы не это ощущение стыда, что возникало с каждым воспоминанием. Подло жил? Может быть, не подло — легкомысленно! Как канарейка!

— Отвечать надо, когда спрашивают! — раздался над ухом грубый голос.

— Слушаю вас,— спокойно ответил он.

— Документы где? Паспорт?

Константин пытался сосредоточиться, вспомнить, где может быть паспорт.

— Под вазой, наверное...

Он, забывшись, поднялся, чтобы достать...

— Сидеть!

Он сел. Улыбнулся:

— Зачем же вы спрашиваете? Если обыск, так ищите!

Старший подошел к нему, сказал тихо:

— Вам бы воздержаться от остроумия. С уголовным кодексом знакомы?

«При чем здесь «уголовный»? — подумал Константин.— Другого-то, наверное, и нет».

— Вы можете сейчас дать показания. Сами написать. Очень советую. В ваших интересах.

«Господи, как пбшло!» — подумал он. Усмехнулся.

— Не надо.

— Ваше дело. Подумайте о родителях! Известные люди!

И в это время зазвонил телефон!

Константин даже головы не повернул. Зато все пятеро уставились на него. Тот, старший, подскочил к нему, наклонился, схватил за плечи, зашипел:

— Парень, это твой единственный шанс! Другого не будет! За убийство — вышка! Шанс, говорю! Бери трубку, если это твой соучастник, зови сюда, говори — срочно чтоб приехал! Понял! Единственный шанс! Если жить хочешь! Ну!

Он рывком вырвал Константина из кресла, почти потащил к телефону. Константин не сопротивлялся. Он как-то не мог понять, что от него хотят, что ему надо делать. Не мог сосредоточиться... Поднимая трубку, надеялся, что это не Андрей. Но это был Андрей.

— Привет, Костя!

— Здравствуй! — ответил он.

Нос к носу с ним сотрудник. Глаза горят, ноздри раздуты, губы облизывает. Шипит:

— Ну! Ну! Он? Да? Зови, чтоб приехал! Сюда!

Больно сжимает плечо.

— Зови говорю, сукин сын!

«Ишь ястреб! Добычу почуял!» — подумал, глядя на него, Константин и услышал:

— У тебя все в порядке, Костя?

— В порядке,— ответил он машинально и почувствовал, что краснеет.

— Коля должен был приехать и не приехал. Не знаешь, в чем дело?

— Нет.

Он вдруг стал задыхаться. Стало жарко до невыносимости. На лбу выступил пот, рубашка на спине стала мокрой.

— Ты спал, что ли?

Еще одно «нет» сказал Константин. Все пятеро сотрудников висели над ним.

— Ну, ладно,— продолжал Андрей,— я тебе вечером еще позвоню. Дома будешь?

— Буду.

И вдруг, спохватившись, неестественно громко:

— Подожди... слушай... Я арестован! У меня обыск!

Трубка вылетела из его рук. На запястьях щелкнули наручники. Его протащили через всю комнату и швырнули в кресло. Он больно ударился боком о подлокотник.

— Щенок! Ты подписал себе приговор! — как-то без особой злобы, но не без досады сказал старший. Константин посмотрел на него и тоже не почувствовал злобы, потому что какая-то небывалая радость вошла в душу и словно вымела из нее все, что тошнотой стояло там, и голова закружилась, и все как-то поплыло, не уходя, не исчезая, но будто опрокидываясь навзничь и в то же время оставаясь неподвижным, беззвучным и бестелесным... Потеха! Он падал в обморок!

4. Личный вариант

Рыжие вихры Паала Андрей заметил сразу, как только с лестницы свернул в коридор. Он прошел мимо него, чуть кивнул, и Павел понесся за ним, не скрывая радости, но все же соблюдая конспиративную дистанцию. Они зашли в пустую аудиторию. Павел долго и возбужденно тряс руку Андрея.

— Просьба к тебе,— коротко сказал Андрей.

Павел будто не слышал.

— Это здорово, что ты зашел! Здорово! Я думал, ты вообще... Я все эти дни думал... Я придумал другой вариант! Мы такое дело сделаем! Не нужно будет убивать! Они сами стреляться начнут! Слушай, я тебе сейчас все расскажу...

Андрей нахмурился.

— Подожди. Мы обсудим твой вариант... Завтра.

— Это недолго! — горячился Павел. Он раскраснелся, кудри его, почти красные, разметались по лбу, он суетился, дергал Андрея за рукав.

— Паша,— еле сдерживаясь, процедил Андрей,— мне сегодня некогда. Завтра мы встретимся и обсудим. Завтра!

Павел сразу сник, погрустнел.

— Я все продумал...— продолжал он еще по инерции.

— Просьба у меня к тебе! — повторил Андрей.

— Конечно! Конечно! — заторопился он.— Ты же знаешь, я всегда... Хорошо, что ты пришел...

— Мне нужна машинка. Отпечатать одно заявление. Сейчас надо!

— Сейчас у нас сопромат...— начал Павел, но встретился со взглядом Андрея.— А, плевать! Поехали! Двадцать минут — и у меня! Чаю попьем!

— Поехали,— сказал Андрей и добавил:— По пути никаких разговоров!

В метро Андрей поймал себя на том, что все время оглядывается. Стало противно. Взял себя в руки, но напряженность не уходила. Теперь она стала частью его жизни. Теперь она до конца! До конца! Конец! Скоро конец! Слово произносилось, а смысл его ускользал, кожей улавливался и морозил, а от сознания рикошетом... Зато мысль работала четко, ясность была удивительной! Она все рассчитал на сто ходов вперед! Он никогда еще не был так уверен, что все произойдет точно по его плану! Даже конец! Хотя он еще не знает, что это такое!

Когда пришли, Павел засуетился было на кухне, но Андрей сказал категорично:

— Паша, ты сейчас вернешься в институт, еще успеешь на второй час. Я захлопну дверь. Завтра увидимся.

У Павла опустились руки. Был он жалок. Но Андрей не испытывал угрызений совести, когда врал ему о завтрашней встрече. Он знал, что никогда уже не увидит больше Пашку. Что ж! Он многих больше не увидит! Они его тоже не увидят! Значит, он с ними со всеми на равных. Если он будет тратить время и чувства на сантименты, то не выполнит план, его просто не хватит на главное. Павел должен уйти и не мешать ему.

Андрей протянул руку. Сказал, как мог мягче:

— До завтра, Паша! Не дуйся! До завтра!

— Ага! — грустно ответил Павел. Был он отчего-то бледен, все веснушки выступили на лице и отмолодили его до мальчишества. В глаза Андрею не смотрел. Он впервые не верил Андрею. Если бы Андрей был чуть мягче, если бы не торопился, как всегда, он многое сказал бы ему, объяснил, просто излил душу! Но он, Павел, не нужен Андрею! Ему нужна лишь услуга! Ну что ж! Пусть так. Он не будет навязчив! И все же! Как можно так легко рвать связи нескольких лет искренней дружбы!

Но руку Андрею пожал горячо.

— Извини,— сказал он,— если что...

Так говорят, когда прощаются навсегда. Андрей понял это. Искренне ответил на пожатие.

На машинке работал минут двадцать. Конечный вариант выглядел так:

Приговор

Совестью своей приговариваю Колганова Михаила Борисовича, в отставке подполковника Комитета Государственной Безопасности за преступления против человечности, совершенные им в период с 1932 по 1953 г., за пытки и истязания людей, за насилия и издевательства, за попрание человеческого достоинства, за злоупотребление властью

к смертной казни.

Приговор привожу в исполнение собственноручно.

Чуть помедлив, Андрей ниже отстукал свое имя и фамилию. Поставил число и время, то время, в которое назначено было умереть Михаилу Борисовичу Колганову, персональному пенсионеру, когда-то верному ученику обрусевшего поляка по имени Феликс Дзержинский, человека, деятельностью своей затмившего славу всех прочих героев на подобном поприще.

У него было в запасе двадцать минут. Он шел по Невскому. Внутренний карман оттягивая тяжелый пистолет ТТ. Он ощущал его не просто как тяжесть, он лежал у него на самом сердце, и Андрей сердцем чувствовал его.

Однажды, десять лет назад, он уже испытал нечто подобное. Но тогда в его кармане лежал комсомольский билет.

Матерью, сельской учительницей, был он воспитан идеалистом, с верой во все, во что полагалось верить. Вера была красива, у нее были прекрасные слова, дела ее со страниц школьных учебников и популярных книжек казались подвигами героев древних мифов. Радостно до одури было сознавать, что живешь во время, когда свершился и продолжает свершаться смысл всей истории! Даже будущее казалось менее интересным, потому что оно походило на конец истории: оно выглядело величественно, но немного скучновато, и он, Андрей, великодушно уступал другим поколениям жить в этом фантастическом будущем. Себе же он оставлял

настоящее, где еще столько перспектив героического, а на меньшее он не готовил себя! На меньшее не готовила его мать, бывшая рабфаковка, однажды приласканная Калининым, однажды видевшая Сталина — «вот как тебя вижу»,— однажды выступившая по Всесоюзному радио о займе государству.

Однажды пережив причастность к «великому делу», всю свою дальнейшую жизнь она прожила под гипнозом этого причастия. Она оставила мужа, когда не обнаружила в нем должной порции одержимости. Разрыв с мещанином мужем или мещанкой женой тогда были воспеваемыми подвигами. Она пошла дальше, она почти прекратила отношения со своими родителями, крестьянами уральской деревни, не оценившими великой мудрости вождя в крестьянском вопросе.

Сама лишь едва причастившаяся, сына своего она готовила к великой причастности. Его вступление в комсомол было обставлено с торжественностью самого знаменательного семейного праздника, на который были приглашены предварительно проинструктированные о поведении дед с бабкой, однако не оправдавшие надежд своей дочери, не проявившие должного энтузиазма по поводу их приглашения. С тех пор она больше не отправляла сына на лето к старикам.

Внук же едва ли был способен уловить такие тонкости, поскольку полностью был поглощен созерцанием своей первой причастности...

Отсутствие такого же энтузиазма в среде своих сверстников воспринимал болезненно. Он мечтал попасть в Москву или Ленинград, где, как он был уверен, живут одни сознательные, где революционный пафос не угас, потому что там живут вожди, их можно видеть воочию и слышать, там каждый дом и каждый камень — свидетель начала и продолжения!..

Уже в те годы уверенность в себе была его главным качеством. И шагая мощеной улицей рабочего поселка, он тогда твердо знал, что будет в Москве или Ленинграде, что именно там начнется его настоящая жизнь, путевкой в которую была маленькая книжечка, что лежала у него на сердце как часть его...

Теперь он шел главной улицей легендарного Петрограда с пистолетом у сердца, уже убивший человека, готовый убить еще одного и на этом поставить точку своей жизни, несуразной, необычной, но все же последовательной!

Прав он или нет — не ему судить! Но, что есть ему оправдание, такое чувство было, и оно в веселую, лихую злость превращало каждую мысль, грозившую сомнением.

Радостно было за Костю, оставшегося верным до конца, и за остальных тоже была радость, потому что ни в одном из них не ошибся. Была и гордость! Его друзья — это дело его рук и его воли. Он представлял себе лицо каждого в те минуты, когда виделся с ним в последний раз, и воспоминания вызывали нежность и любовь, и это было единственным, что осознавалось утратой, когда думал о конце. Но о конце старался не думать. Не думал и о милиционере. За эту ошибку он расплатится жизнью, самым ценным, что у него есть, и если и не исправит тем самым, то зачеркнет...

Иногда он машинально, а может быть, специально касался рукой пиджака в том месте, где чуть-чуть выпирала рукоятка пистолета, и тогда реально ощущал готовность ее ребристых граней довериться ладони...

А встречные и обгонявшие его ничего не знали! А если бы узнали, как бы шарахнулись в стороны, какой бы мертвый круг пустоты образовался вокруг него. Чтобы люди узнали тебе цену, нужно оказаться в мертвом круге. Маленькая дешевая истина! Но вот он идет по многолюдной улице, идет словно под шапкой-невидимкой... Нет, он не страдает от безызвестности, просто невидимость холодит, разделяет до отчуждения, до враждебности. Она подкапывает основу основ — целесообразность! Это она заставляет дрожать голос, когда ему уготовано быть набатом, это она сводит мускулы пальца, когда он ложится на спусковой крючок, это она, единственно она, может у смелого человека вывернуть грудь наизнанку, и человек вместо груди показывает спину!

Было что-то обидное и грустное в той чуждости, с которой проходили мимо него люди и обгоняли его. Подумалось, что случись вот такой улицей идти целый день, то к вечеру, возможно, и усомнился бы в своем варианте! Но восторжествовала бы не истина, а слабость. От слабости не застрахован никто!

Вот у него еще есть один пункт, излучающий слабость. Это Ольга! Но табу! Слава Богу, он вполне овладел способностью контролировать мысль! Его мысль была покорной, тренированной и способной собакой. Этому научили его йоги. Ненужную мысль он мог наотмашь отхлестать по морде, и она, скуля и свертываясь клубком, уползала в темноту конуры. Нужная работала, как борзая по следу, и он часто не без самодовольства наблюдал почти как бы со стороны ее работу.

Вот и сейчас, в оставшиеся свободные минуты, он может позволить себе немного сентиментальности, но без злоупотребления. Потому Ольги на свете нет, хотя пусть она где-то живет, но на свете есть мать, хотя она не жива.

Сейчас ему очень полезно вспомнить тот день, когда он примчался домой по телеграмме и застал мать, разбитую параличом, недвижную, немую.

— Ну что, слышала про Сталина? — спросил ее за день до того на улице подвыпивший парень-шофер, бывший ее ученик.

Андрей знал мать. Ее мог разбить паралич от одного обращения на «ты».

— Выходит, всю жизнь ты брехала, учителка! И гроши за то справно получала! Ткнул вас Никита мордой об стол! Степаныча-библиотекаря ты на Север упекла? А он человек был, не то что ты — граммофон!

Мать умерла через неделю. На ее могиле при всем народе катался по земле и рвал на себе рубашку парнишка-шофер, ее бывший ученик.

Андрей не поднял на него руки. Но и взгляда не дал ему в облегчение.

Под именем Андрея в Ленинград вернулся другой человек, настолько другой, насколько вообще возможно человеку измениться разом!

Тогда выстелилась перед ним та дорога, что сейчас проходила по Невскому, вела к метро, затем к Финляндскому вокзалу, оттуда до станции Лемболово, где жил на своей даче персональный пенсионер, подполковник КГБ в отставке.

В шесть часов с пунктуальностью маньяка выйдет он в сад с лейкой пожарного цвета в руках и начнет поливать искусные клумбы вокруг дома, осматривая каждую и каждый цветок на ней, чмокая губами, приговаривая что-то, покачивая головой, морщась и сутулясь... Сегодня он польет только три клумбы. На четвертую, что ближе к забору, он упадет, чтобы самому уже больше не подняться. Последними впечатлениями его на этом свете будут боль и аромат пионов. Второго он не заслужил! Непозволительная роскошь — такому человеку умирать под аромат пионов! Но даже самый отъявленный негодяй имеет право на последнее желание! Таков обычай предков, и не стоит его нарушать! Пусть же пионы зачтутся ему как последнее желание!

Вот так это случится. И никто уже никогда не узнает, о чем думал этот человек за минуту до смерти, что думал он о своей жизни, думал ли он вообще в жизни? И если верно, что перед смертью человеку видится вся его жизнь, то не умер ли он скорей положенного от этого видения? Узнать такое было бы очень важно! Может быть, даже важнее, чем его смерть! Но это невозможно! И потому он рухнет лицом вниз на клумбу с красными пионами, и таким же красным пионом расцветет смерть на его белой рубашке.

На выстрел выскочит из дома рыхлая пожилая женщина и, увидев мужа, завопит страшным голосом: «Уби...и...ли!», но вместо того чтобы кинуться к мужу, пытаться поднять его, растормошить в отчаянии, она закричит: «Спасите!» и еще быстрее влетит в дом, громыхая затворками и защелками...

Последнее — было единственным отклонением от того, как все представлялось Андрею. И это хорошо! Когда планы осуществляются до мельчайших подробностей, оно, конечно, бальзам самолюбию, но скучновато.

Было случайное желание пальнуть ей вслед, как бы спросить выстрелом: «Чего же ты испугалась, старая карга? Как же ты тогда жизнь свою прожила, если за себя боишься, кукла распатланная!»

Суматоха, наверное, началась скоро. Но Андрей уже этого не услышал. Через семь минут он был на платформе, через пять минут сел в вагон электрички и через сорок минут уже стоял около каменного броневика, с которого тридцать с лишним лет каменный человек произносил все одну и ту же речь и никак не мог окончить ее, и рука его окаменела в жесте и каменные слова камнями застряли в горле...

Андрею было бы что спросить у этого человека! Но план есть план. У него не было времени на лирические отступления. Его ждал «большой» дом на улице Каляева, чудовищ-

ная крепость из бетона, куда он должен войти сам собственной волей и не выйти из нее уже никогда.

В том месте полвека назад человек его возраста и, может быть, даже внешне похожий на него (могло же такое быть!) сделал то же самое, что и он,— убил человека. Убил и умер сам! Его именем назвали улицу те, кто унаследовал его дела. А он, Андрей, сегодня убил одного из этих наследников. За это они убьют его. Но никакая улица не получит его имя! У него нет наследников. Круг замыкается! И размыкается одновременно! Тупая, бессмысленная последовательность! Он сам подключился к ней и тем самым оставил последнее слово им, его врагам!..

...А с какой стати?

Эта мысль ошарашила его у самых дверей большого дома. С какой стати он преподносит им себя в подарок! Кого он хочет удивить жестом? Но стоп! Там его друзья! Там Константин, Коля, может, и Павел с Вадимом! Он должен быть с ними!

Но поздно! Он запнулся о сомнение, он уже балансировал, он не мог сохранить равновесие. Не было теперь силы, которая заставила бы его переступить порог. Другая сила, незнакомая и гнетущая, несла его прочь, не позволяя ни остановиться, ни оглянуться, ни одуматься! Та самая лихорадочность, что целый день гоняла его по инстанциям тщательно продуманного плана, рвала в клочья его остатки. Андрей вдруг осознал себя мятущимся и мечущимся, рассеянным и растерянным. Он не знал себя таким, он боялся себя такого! Он вскакивал в трамваи и выскакивал из них, он сновал по переходам и эскалаторам метро, два раза машинально купил мороженое и выкидывал, потому что отродясь не ел его...

Но это была еще не вся мера расплаты за сомнение. Подкрадывался страх. Сначала была фраза: «Пусть они попробуют взять меня!» Тут же вылупилась другая: «Легко не дамся!» И тогда змеей выполз страх! Страх попасться глупо, даться легко! И тогда город превратился в его врага. Каждый прохожий потенциально был враг. А что он сможет сделать здесь, в трамвае или в метро, в этой толкучке у витрин и переходов? В городе он, как в клетке, в которой пока еще не захлопнулась дверка!

Прочь из города! Как можно скорей, как можно дальше! Чтобы быть готовым в любую минуту! На Урал, к деду! Там они не смогут появиться незаметно! Там он им всыплет на полную! Немедленно на Московский вокзал! Тотчас же! Пока не перекрыли пути! Пока не начали розыска! А может быть, уже и начали? Долго ли продержаться ребята! Не выстоять им на допросах! Где им против этих знатоков своего дела!

Он бросился к метро, но опомнился. Нет денег. Была минута полной растерянности. Но потом сработала память. Сработала она со скрипом, с экивоком к совести, как-то нечисто сработала! И номер телефона набирал трижды. Сбивался. Путал цифры. Господи! Что это с ним такое?

Полчаса до прихода Андрея Ольга терзала пианино. Старенький инструмент надсадно и как-то испуганно грохотал на несколько этажей вверх и вниз...

Злость на себя переполняла ее, злость туманила сознание, злость кипела на кончиках пальцев и заражала клавиши, и они тоже бесновались в рычании аккордов, и гармония знакомых звуков искажалась гримасой злости.

Она ненавидела себя! Презирала себя, захлебывалась от отвращения к себе! Боже! Сколько она ждала этого звонка! Как тщательно она приготовилась к нему! Тысячу раз были отрепетированы ответные фразы, ювелирно отточена тональность голоса, даже выражение лица, которое бы он не увидел, и оно было продумано и готово к его звонку! Звонков было много, и каждый раз она подходила к аппарату во всеоружии. И этот долгожданный звонок не был неожиданным. Но только задрожала рука, стало шумно в голове и плохо слышно, она вынуждена была переспросить и... сбилась!

Она готовилась уничтожить его, испепелить презрением, она мечтала бросить трубку, чтобы его оглушили короткие сигналы отключенного телефона...

Он спросил: «Ты будешь дома?» Она не поняла от волнения. Переспросила. Он повторил и сказал: «Я через полчаса буду». И она неожиданно промямлила: «Ладно».

Самоуверенный наглец. Прошел почти год! Она могла выйти замуж и родить ребенка! Он же сообщает ей, что придет, как будто только вчера вышел из ее квартиры! Он уверен — подумать только! — уверен, что она ждет его и будет ждать сколько угодно. И он может позвонить ей, когда ему вздумается: через год, через два, через десять... Паршивец! Он и через десять лет позвонит ей как ни в чем не бывало и сообщит, что через полчаса придет!

Уйти! Пусть у него отсохнут пальцы на звонке! Почти рванулась со стула. Мысленно рванулась, накинула плащ, погасила свет, хлопнула дверью, нырнула в лифт, из лифта в темноту улицы...

Но представить его, униженного, обескураженного у беззвучной двери пустой квартиры, фантазии не хватило. Еще в спину можно было представить: вот он стоит, высокий и строгий, и нажимает кнопку звонка... и все! Его же лицо... Оно все так же насуплено, строго и... властно!

Смешно! Женщины упорно добиваются равноправия! Они уверены, что оно нужно им как воздух! Но вот мужчина, хорошо, если мужчина, а то мальчишка, хмурит брови — и в сердце тысячелетняя мука!

Она не справилась с ним по телефону. От встречи она уже не ожидала ничего хорошего, о встрече она уже не думала. Она только корчилась от презрения к себе, и была обида на весь мир, на жизнь свою обида, на себя обида и за себя обида!

Когда раздался звонок, необычно резкий и оглушительный, она упала головой на клавиши, и пианино ахнуло надрывно и сочувственно дребезжало еще столько, сколько буравил дверь звонок. Когда же звонок смолк, она кинулась к двери и открыла ее не колеблясь.

Он вошел... такой же и не такой... Тот же был на нем пиджак, те же брюки. Даже рубашка была ей знакома. Все на нем чисто, глажено. Будто видом своим доказывал, что не нуждается в женщине. И все же он изменился. Сначала, в первый момент она не поняла, в чем перемена. Потому что не могла взглянуть в глаза. Когда взглянула — сжалось сердце.

Глаза его всегда бывали строги, холодны и проницательны. Этот букет принято считать признаком сильного человека. Она знала, Вадим и какие-то другие мальчишки бегают за ним, как собачонки. Она знала, в него влюблялись и влюбляются наивные деревенские девчонки и пресытившиеся богемой, жаждущие остренького, блекнущие городские девицы.

Она же никогда бы не влюбилась в него, если бы только это видела в его глазах. Но она умела и любила ловить в его демонстративно холодных глазах выражение какой-то необычной тоски. Как иногда в новой и путаной мелодии, бывает, вдруг один аккорд, а то и один звук, подголосок внезапно приоткрывает тайну мелодии, и, отталкиваясь от этого намека, постепенно начинаешь чувствовать созвучность всей мелодии какому-то такому же непонятному своему состоянию. И тогда эта музыка становится необходимой, хочется слушать и вслушиваться в нее, потому что она рассказывает о тебе что-то, чего ты сам о себе не знаешь, а лишь догадываешься. В человеческих отношениях это называется родством душ. Родство — не похожесть. Похожесть раздражает и отталкивает. Это смежность душ, соприкосновение, может быть, даже не в самом главном, но в чем-то глубоко интимном. И тогда бывает чудо: разные, как небо и земля, двое соединяются навсегда!

У них этого не произошло. Потому что только один из них смотрел в глаза другому: она. И что еще обиднее, он и на себя смотрел так же поверхностно и равнодушно, как на других, он и в себе видел только то, что было очевидно с ходу. Разве знал он, например, что когда по-обычному хмурится, когда уверен, что в данную минуту гнев есть суть его состояния, разве он знал, что глаза его в этот момент, не всегда, но часто бывают печальными изнутри и не подчиняются мимике, словам и жестам и будто наблюдают за всем этим, как за чем-то внешним, для них необязательным, им чуждым...

А еще в его глазах часто бывала жажда. И тогда она боялась за него. Или его боялась. Страх этот был непредметным, он не имел слов, его нельзя было объяснить. Но именно в такие минуты она ему прощала все и раскаивалась в прощении позже, когда забывала его взгляд, потому что его нельзя было запомнить, потому что это был лишь нечаянный намек на что-то такое в этом человеке, что ей недоступно и несмежно и, значит, навсегда непонятно...

Он поздоровался тихо и сухо. Прошел в комнату, сел в кресло.

— Кофе? — спросила Ольга, чтобы собраться с мыслями и осознать впечатление, которое он произвел на нее.

— Можно,— равнодушно ответил Андрей.

Она ушла на кухню и, суетясь у газовой плиты, наблюдала за ним, не боясь встретиться с его взглядом, потому что он сидел в своей любимой позе, раскинувшись в кресле, уставясь в абажур настольной лампы. Он говорил ей когда-то, что синий цвет действует на него магически, приятно парализующе, что он успокаивает его.

И хотя глаз его видно не было, она уверилась, что первое впечатление не обмануло ее. Он изменился. Что-то изменилось в нем. Ничто не свидетельствовало о том, что ему плохо. Да она и не знала, что значит «плохо» для Андрея. Неприятности в институте? Дела институтские никогда его всерьез не затрагивали. Он ни с кем никогда не ссорился. Он просто рвал с людьми, вычеркивал их из сознания. И если переживал при этом, то не очень.

Плохо ему было однажды, когда умерла мать. Это было давно. Иногда ей казалось, что это «плохо» стало его постоянным состоянием. Но он никогда, ни до, ни после смерти матери, не говорил о ней что-либо, кроме общих фраз. Не чувствовалось даже особой привязанности к ней. Но с тех пор он изменился. Ей казалось, что к худшему. Мелкие неприятности, наверное, бывали у него. Бывали, наверное, и радости. Но в поведении своем он всегда оставался постоянным, однозначным...

Сегодня внешне все как обычно. Но она почувствовала сразу: что-то произошло. Ей даже показалось, что сегодня он расскажет о себе все, что скрывал, о чем умалчивал. Ей показалось, что сегодня случится в их отношениях тот поворот к пониманию, которого она ждала годы и не дождалась. Незаметно для себя она снова соблазнилась надеждой, и как не бывало ненависти, обиды, злости... «Баба!» — вздохнула она про себя.

Налила кофе и села против него. Он сделал глоток, нахмурился, как всегда, если находил кофе слишком горячим. Она даже чуть не улыбнулась, так знакомо было ей это непроизвольное движение бровей.

Он поставил чашку. Откинулся в кресле и впервые взглянул на нее. Лучше бы уж не глядел! Ничего хорошего этот взгляд не обещал. В нем была тревога — но, увы, не о ней! В сущности, он отсутствовал. Искорка надежды погасла и превратилась в льдинку, в крохотный кристаллик, который вызывал озноб.

— По отношению к тебе я, пожалуй, был негодяй,— сказал он, глядя ей прямо в лицо. Сказал, как говорят между прочим о погоде и прочих пустяках.

— Пожалуй,— ответила она тон в тон ему, готовясь к чему-то худшему, к чему-то совсем плохому. А уж, казалось, давно была готова ко всему.

— Ты вправе меня ненавидеть.

Он разрешал ей ненавидеть себя, и она ответила:

— Спасибо!

Он не обратил внимания на издевку.

— И все же мне не к кому обратиться, кроме тебя.

Он играл на ее душе. Одна фраза, и она снова полна любви и готовности. Хотя бы вот так быть нужной!

— Я должен уехать. Сегодня. Но у меня нет денег.

— Сколько? — спросила она слишком торопливо, но ей уже было наплевать, лишь бы не потребовалось больше, чем у нее есть!

Он нахмурился и молчал.

— Сколько нужно денег? — спросила она осторожно и так сочувственно, что это проняло его, и он даже рукой по лбу провел, будто убедиться хотел, что морщины строгости действительно распались...

— Немного. Но... Не в этом дело...

Он встал и заходил по комнате. Он нервничал. Он сильно нервничал! Таким она его не помнила. Что же произошло?!

— Я не смогу вернуть тебе деньги. Никогда не смогу...

Она не поняла. Мелькнула мысль: «Бежит за границу!» Нет, это на него непохоже!

— Ты уезжаешь навсегда? — спросила она, не скрывая отчаяния.

— Да! — ответил он почему-то грубо.

Она не поняла этого тона. Она поняла только, что это действительно конец, и она, давно приговорившая свою глупую любовь к неудаче, оказывается, к самому концу все же не была готова.

— Сколько нужно? — спросила она еще раз.

Он назвал сумму. Эти деньги у нее были. Она взяла сумочку с окна, достала деньги, пересчитала и отдала ему.

— Спасибо! — буркнул он, и она поняла, что он сейчас уйдет.

— Подожди! — сказала она, хотя Андрей пока ничем не проявил намерение уйти. Она кусала губы. Она не могла его отпустить. Как бы ему плохо ни было — ей было хуже. Эта несправедливость вызывала желание уравнять боль... Но говорила не то...

— Вадим сказал, что ты любишь меня...

Андрей встрепенулся, ей даже померещился испуг в его глазах.

— Вадим? Ты видела его? Когда?

— Он звонил вчера. Сказал, что ты взял мой телефон... Я ждала...

Ничего этого не нужно было говорить. Она подошла, встала рядом. Он не поднял головы. Он думал о чем-то... не о ней.

— Андрей,— сказала она мягко и тихо,— понимаешь ли ты по-настоящему, что ты плохой человек?

Он помолчал, ответил так же, не поднимая головы:

— Я допускаю это.

— Ты не любил и не любишь меня? Так ведь?

Он поднялся, чужой и недоступный.

— Оля, теперь все это не имеет никакого значения!

— Для тебя! — Она захлебывалась от обиды.— А для меня, как думаешь?

Как он взглянул на нее! Еще секунда, и она бросилась бы ему на шею! Но он сказал:

— Мне нужно идти. Я хотел бы расстаться с тобой хорошо.

Она отшатнулась. Ей казалось, что она падает.

— Может быть, ты все-таки объяснишь что-нибудь! Неужели я этого не заслужила!

Она не узнавала своего голоса. Это был не голос, а скулеж...

— У тебя неприятности? Да? Ну, давай уедем! Я продам квартиру! Уедем далеко! Но только вместе! Куда хочешь!

Он как-то странно и нехорошо усмехнулся.

— Что ж, это тоже вариант! Только теперь он уже невозможен, если раньше был неприемлем.

— Я ведь аборт сделала, Андрюша!

Лишь полное отчаяние могло выдавить из нее эту фразу.

— Аборт? — переспросил он удивленно и вдруг резко схватил ее за плечи, тряхнул.— Аборт! Ты убила моего ребенка! Ты! Ты! Дрянь!

И он буквально бросил ее на пол. И казалось, сейчас растопчет, но только повторял:

— Убила ребенка! У меня мог остаться сын... или дочь... Убила!

Он смотрел на нее, как на отвратительное чудище, и она, полулежа на полу, боялась пошевелиться и даже не чувствовала боли от ушиба.

На его лице было горе — такое огромное горе, что она, будто очнувшись, подползла к его ногам, обхватила их, захлебываясь от слез, залепетала:

— Андрюшенька, милый, я ведь не знала... ты же ушел... ты бросил... ты ни слова... Андрюшенька...

Он поднял ее и продолжал держать за плечи, но взгляд его стал еще страшнее: теперь это был взгляд покойника или смертельно раненного, это был взгляд неживого человека.

— Андрюша, у нас еще будут...

— Нет! — перебил он ее. Взглянул на часы.— У меня пятнадцать минут. Я не умею за пятнадцать минут делать детей!

— Что ты говоришь! — закричала она, вырываясь.

— Как ты могла?! — сказал он глухо.

— Я! Я могла? А ты что, младенец? Ты не знал, что могут быть дети? Ты когда-нибудь подумал об этом? Ты обо мне подумал когда-нибудь? Ты еще обвиняешь меня? Ты смеешь?!

Она упала в кресло и затряслась в рыданиях. Какие-то слова прорывались, но она сама их не слышала. Она вцепилась себе в волосы, сдавливая виски, она почти билась головой о подлокотник кресла, она задыхалась.

— Уйди! — вырвалось наконец у нее.— Уйди! Пусть тебе будет так же плохо! Пусть!

Слезы ослепили ее, и она не видела, когда он встал у кресла на колени. Он целовал ее руки, ее мокрые руки и говорил:

— Я люблю тебя! Я вернусь! И все будет снова! Все будет не так! Прости меня!

Позже, через несколько лет, ей, наверное, покажется, что не стоял он на коленях, не целовал ее рук, не говорил этих слов, что ничего этого не было, что он ушел, не попрощав-

шись, и она сама в истерике вообразила всю эту сцену, потому что, если бы ее не было, как бы смогла она выжить...

5. Один

В окне проносилась, проплывала, пролетала и растворялась в далях Россия.

Казалось, к этой серой и молчаливой земле неприменимо название столь звучное, как боевой клич, как зов походной трубы. Слово это воспринималось, как что-то в прошлом, совсем немного в настоящем и никак в будущем.

Или казалось, что существуют две России: одна в сознании — красивая и неясная, как мечта, другая, как прототип мечты со всеми атрибутами прототипа. Проплывали селения, в селениях жили люди, думалось же о них, как об иностранцах... Даже не верилось, что говорят они на том же языке... Еще страшнее было представить иностранцем себя, страшнее, потому что очень правдоподобно...

Какой жалкой мышиной возней представлялась ему отсюда вся его деятельность в Питере, и все эти муки душевные и поиски, и споры, и принципы, ради которых ломались и создавались человеческие отношения, ради которых перекраивались судьбы, ради которых даже убивали людей...

Железная дорога, бегущая к Уралу и дальше Урала, в Сибирь и дальше Сибири, куда дальше, кажется, уже и невозможно, дорога эта представлялась бездонным колодцем, уходящим в глубиину России не только пространственно, но и во времени. Казалось, не километры от центра отсчитывает поезд, а года прочь от настоящего времени к какому-то временнбму постоянству, которое и раньше, и теперь, и всегда, но по отношению к ним, людям столиц, всегда за их спиной, всегда им чужое.

В темноте вообще было реальное ощущение, будто в колодезном ведре летит он вдоль колодезного сруба с бешеной скоростью вниз, и стук колес был вовсе не стук колес, это громыхал вал над колодцем, с которого раскручивалась бесконечная веревка, еще вчера державшая его наверху, под самым козырьком солнца, где он виден был себе сильным, нужным и правым, в полиом убеждении, что нет ему надобиости вглядываться в темноту сруба, потому что он в самом венце смысла всего, что под ним...

Нет! Все не так! Он догадывался и ранее об отсутствии смысловой связи между его жизнью и судьбой того существа, что именовалось Россией. Объяснением этому мог быть только факт бессмысленности бытия одного из двух. У него никогда не хватило бы смелости отказать в смысле тому, что было в мире до иего и будет после. Но тогда следовало бы призиаться в том, что он просто наломал дров в горячке и спешке, и потерял при этом право распоряжаться не только своей жизнью, но и смертью. ...Потому остается одно: он не понял России. Поспешил, спалил себе крылья и превратился в земноводное, которому остается одно — кусаться и умереть под щелканье собственных челюстей...

А оиа все мелькала и мелькала в окне, Россия — многообразная и однообразная до отчаяния. Россия, в которую рекомеидовалось «только верить» и не тратить времени на познавание умом. Но умом не понять только безумного! Должен же быть какой-то постигаемый смысл в бессмыслице полувека! Каким вдохновением уловить его! Ведь жизнь у каждого одиа, оиа коротка и дорога каждому! Вот он, Андрей, разменял ее на безумство, которому песню — увы! — никто не споет! А если вдуматься, то безумство храбрых — это всего лишь храбрость безумцев! И если быть беспощадным в правде, то как не признать, что, поднявшись с пистолетом против стоглавого дракона, он в бунте своем храбр от отчаяния, от бессилия, от страха перед неспособностью к чему-то большему, чем безумство!

И все же! Маленький, крохотный кусочек подлости, что цементом легла на стыках общества, он отколол и создал пусть иичтожное, но все же беспокойство этому мурлыкающему от самодовольства дракону! Хотя бы на одном квадратном сантиметре бесконечного болота он создал волнение ценой самого дорогого — жизни! Разве величина ставки не оправдывала бессмысленность!

И потому хотелось еще стрелять и стрелять, и чтобы не смолкал грохот выстрелов, чтобы видеть смятение и страх на лицах, застывших в маске бездумия, заплывших, опухших равнодушием, чтобы взломался ритм слепоты, чтобы автобусы втыкались в тротуары, с треском разлетались витрины, чтобы переворачивались вверх колесами черные лакированные и бронированные персоналки, и оттуда вылезали на четвереньках те, кто еще минуту назад держал на четвереньках человеческие души. Чтобы проспекты превратились в грохочущие тупики, а на одном из этих тупиков — он. Андрей, с пистолетом в руке, а по левую сторону и по правую сторону от него — соратники, радостные и одержимые, и знамя над ними... красное...

Андрей недоумевает, почему оно красное, но другим представить его не может... и он громко стонет во сне, так громко, что сосед по верхней полке, солдат-отпускник, осторожно трясет его за плечо...

Его дед, семидесятилетний старик, никак не мог взять в толк, за какое добро послал ему бог внука, которого он уже не чаял увидеть. Он суетился по избе, кряхтел, охал, ахал и млел, глядя на светловолосого красавца, очень даже похожего на другого, что вписел на стенке под стеклом с Георгием на груди. Таким он был сам полвека назад, и сохли девки по нем, как осинки подрубленные! И барышни в кружевах, образованные и беленькие, глупели, когда он подмигивал им, и пухлые вдовушки грустнели, глядя на него! И сам Брусилов, обходя строй, остановился напротив и по плечу хлопнул! Может, правда, и не Брусилов, но что генерал — точно!

Когда сели вдвоем (Андрей просил никого не приглашать) и чокнулись стаканами, не связывался разговор, и потому тут же налили по второй. Помянули покойников, мать и бабку, которая так и не увидела внука взрослым. Старик блестел глазами. Да и Андрей тоже. После третьей — другое дело! Дед разговорился, вспомнил гражданскую, взятие Бугуруслана, ранения свои, госпитали... Потом, как землю дали, как робко делили ее, чужую... Первый урожай на этой земле! Как в город ездили на своих лошадях за обновками, в каких нарядах девки загуляли в деревнях... Как стало потом тускнеть мужицкое счастье, когда закатилась звезда нэпа и появилась в деревнях матросня да фабричные с наганами по брюхам. И плакала землица, и скотинка, что народиться успела, плакала... Как потрошить начали мужицкие избы, как подводы с раскулаченными заскрипели по заоколицам с ревом баб да ребятишек! И началось строительство этого самого социализма, который, конечно, всему человечеству мечта, да только на горбе крестьянском выращенная! А про то ни у кого сознания нет, и уважения крестьянскому труду молодежь не признает, как несознательное будто это сословие есть... А что ни денег, ни паспортов в глаза не видывали, кому дело да интерес! Перетасовали народишко с разных сторон, забыли, как землю охаживать требуется! Церкви для нужды устронли — Бога-то по науке, сказывают, быть не может!

— А веришь в Бога? — спросил Андрей.

— Сомневаюсь я, что Его нету вовсе, и причины тому сомнению имею, да тебе того не понять!

— Какие причины-то? — настаивал Андрей.

— Ну, вот хотя бы, кто у нас шибче всех раскулачивал? А были братья Санька и Пашка Крюковы. Я про нашинских говорю, а что приезжих да нерусских полно было, то само собой! Братья эти по молодости кулачниками да охальниками были. После гражданской партейными обернулись. Уж и погуляли они по хозяйствам нашим! И что?! Саньку Кузьма Банников из винта хлопнул, а Пашку свои же на север упекли, где и сгинул без вести! Опять же Кузьма Банников в Саньку пальнул, а когда огородом, своим огородом, заметь, домой вертался, в старый колодезь угодил, да так, что и помучиться не успел! Вдрызг головой об камень! Вишь, всякое зло расплату имеет! А как она оборачивается, расплата, без Бога ежели? Али Кузьма своего огорода не знал, в колодезь сподобился! В своего пальнул — и разум помутился!

— Так ведь этот «свой», наверное, заслужил?

— Чего там! Совсем бешеный мужик был! Никто не горевал! Да только в своего палить, нешто добро! Ночью, как тать! Трах — и дёру! Не бывало у нас такого! И чтоб в свой колодезь падали, тоже такого никто не помнил. Так что кто-то, внучок, надо думать, над нашими душами есть, и следит он за нами, и за шкирку потаскать может, ежели что... И воле всякой предел установлен!

— А предел подлости людской? Как насчет этого? — хмуро вставил Андрей.

— Все есть,— философствовал дед печально.— И горе, и страдания, и болезни... Только дано человеку лекарство, что посильней всего будет,— терпение!

— Ага,— буркнул Андрей.— Бог терпел и нам велел!

— Совет тебе хочу дать, внучок! Хитрый совет! — Он вместе со стулом пододвинулся к Андрею, налил самогону из графина. Андрееву бутылку они уже приделали. Привалился боком, держа стакан на весу.— Не богохульствуй попусту! Тебе ведь от этого радости нет! А хрен его знает, может, Он и есть где-нибудь там!..

Ткнул стаканом вверх, расплескал самогон. Андрей посмотрел в потолок, сказал вяло:

— Там никого нет. Пустота да материя мертвая.

— Кто его знает! — с сомнением протянул дед.— Внутрь надо смотреть, наскрозь чтобы...

— Как? — не понял Андрей.

— Внутрь, говорю. Ты вот что есть? Тварь с двумя руками да с двумя ногами. А ежели внутрь тебя взглянуть?

— Внутри у меня кишки, дедушка! Андрей стукнул стакан деда и выпил. Перекосился, начал жевать капусту прошлогоднего посола. Дед смотрел на него разочарованно.

— Глуп ты еще! Хоть и образованный! Конечно, если человека шашкой на куски скромсать, то кишки увидишь. Не про то нутро толкую! В том нутре душа у тебя, до нее шашкой не доберешься!

— А если шашкой до кишок добраться, что от души остается?

Андрей весело подмигнул деду, уходя от скучной темы. Не тут-то было!

— Допустим, мешал тебе человек. Ты его шашкой али пулей. Лежит он пред тобой бездыханный! Твой, стало быть! Получил ты его мощи. А душу? Душу-то получил? Шиш!

— Добрый у тебя самогон, дед!

Дед радостно подмигнул.

— Понравился! Завтра еще накапаем! Не ждал ведь я тебя!

И вдруг прослезился.

— Мамка твоя, дочь моя, значит. Царствие ей... конечно, и, можно сказать, святая была, но сердцем жестокая! Где это видано, чтобы внука от стариков прятать! Стыдилась она нас, темноты нашей стыдилась. Не понимала, что свет наш в мозолях! Старуха моя покойная тяжело рожала ее, больше детей Бог не дал. Почитай, прожили мы жизнь без детей! Весточки от дочки на переводах получали. В деньгах она аккуратная была! День в день! Завидовали нам! Только старуха каждый раз плакала, как деньги приходили... Глупая была...

Он рукавом вытер глаза. Андрей обнял его.

— Дочь свою не осуждай, дед, несчастная она была!

Дед испуганно вскинулся.

— Да нешто я осуждаю! А про несчастность, это как посмотреть! Жила она верой своей, а в вере люди несчастными не бывают! Дай Бог тебе веры такой!

— Какой веры! — зарычал Андрей.— Во что верила моя мать?! В кого верила? В бандита?

— Но! Но! — нахохлился дед.— Ты не очень-то! Какой он ни есть, при нем порядок был! И люди свое место знали! Людям строгость нужна, а без строгости нынче вон в колхозах работать некому! Каждый свое гнет... Сам себе начальник!

Андрей заскрипел зубами, кулаками сжал виски.

— Что ты говоришь, дед! Какой порядок! Ты же только что рассказывал про этот порядок, как наизнанку выворачивали вас! А про тюрьмы и лагеря ты слышал?! Бандит был тридцать лет у власти! Понимаешь! Бандит! И порядок был бандитский! И законы были бандитские! Дед! Да разве вас не стригли, как овец?! Вы же для него и всей этой шайки рабочим скотом были!

— Это ты брось! — Дед смотрел на Андрея сердито, исподлобья.— Это кто, может, другие скотом были, а мы в скотах не ходили! Мы Россию кормили! А что всяко бывало, так где это жизнь без горя? Может, в Америке? Так мы с тобой там не были и знать не можем, какие у них свои беды! Бандит, говоришь! А в тридцатом кто меня в подкулачники записал? Сталин? Да сосед мой, Прошка Федотов! А за что? А побил я его вожжами по пьянке! При чем тут Сталин? А гусей да курей отбирать — был такой закон? Не было! А у моей старухи петуха прямь из-под подола вытащили активисты наши! А кто им за это по шеям надавал? Знаешь? Никитка-сельсоветчик после того, как запил, так и помер от запоя, а до того по деревне козырял ходил, наганом махал да плевался скрозь зубы! Я тебе так скажу: ежели б каждый свою подлость придерживал, так и половины горя в народе не было!

— Это все, что ты помнишь? — с глухим отчаянием спросил Андрей.

Дед обиделся.

— Чего я помню, того в голову тебе не вместить! Много воли вам дали для разговору! А в колхозе работать некому! Всех на чистенькое тянет!

Он еще ворчал. Андрей сидел, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, и вид у него был такой несчастный, что дед, спохватившись, вдруг умолк, заморгал смущенно, заерзал на стуле.

— Ну, чего ты! Чего! Если что не так говорю, зачем близко к сердцу класть? Какой с меня спрос! Жизнь моя прошла, и каждому свою жизнь жалко... Ну! Внучок!

Он схватил стакан Андрея, наполнил, осторожно тронул внука за рукав.

— Выпьем, а?

Андрей поднял голову, повернулся к деду. Смотрел в его бесцветные слезящиеся глаза, пытался прочитать в них что-то подсознательное и подлинное, что непременно должно быть там, но видел только старость. И еще увидел в них жажду человеческой ласки! Вспомнились глаза Ольги. Удивился тому, что у молодости и старости могут быть одинаковые глаза...

Он обнял деда так крепко, что тот почти захрустел костями, но будто не заметил этого, и весь обмяк, и приник к плечу внука. Язык отнялся у старика. Он теребил рукав Андрея и сопел ему в ухо.

Потом они допили остатки и только тогда навалились на закуску, что наскоро была сготовлена дедом и состояла из капусты, картошки, огурцов да рыбы соленой неизвестного наименования. Дед несколько раз пытался оправдаться за скудость закуски, но Андрей активностью челюстей изображал, к полной радости старика, искреннее удовольствие и демонстрировал аппетит здорового человека, здоровье которого пропорционально потребности в пище, простой и обильной. Потом, отдавшись хмелю, они пытались что-то спеть, но Андрей не смог подпеть деду ничего, кроме «По диким степям Забайкалья», да и то один куплет...

Дед готов был продолжать трапезу до бесконечности, но Андрей чувствовал себя так скверно, что вынужден был огорчить старика и попросился на сеновал, хотя тот приготовил ему великолепное, пышное ложе на своей древней супружеской кровати.

Было еще совсем светло, хотя солнце зашло. В сторону заката открывался с сеновала чудный вид на уральские просторы. Проселочная дорога из района зигзагами подбегала к деревне, прокатившись по широченной деревенской улице, втиралась в берег тихой речушки и, петляя в перелесках вместе с ней, исчезала затем в темноте дальних лесов.

С хмеля очень даже легко было представить себя летящим низко над землей, а если смотреть вперед, в алую даль заката, то кажется, что она приближается, и вот-вот догонишь солнце и ворвешься в день... Но день отступал на запад, туда, откуда Андрей бежал так поспешно и откуда ожидал скорой развязки. Можно было посчитать сном все случившееся, а отсчет пробуждения вести с этого момента, когда он лежит на сеновале и всматривается в закат... Он проспал целый день... Надо придумать, почему проспал... Потому, что прогулял ночь с девушкой. С Ольгой. Ольга живет не в Питере, а в деревянном доме с крашеными ставнями на том конце деревни. И она не пианистка, а... библиотекарь деревенский. Можно ей быть и дояркой, но лучше библиотекарем... Питера не было! Не умирала мать! Она внизу, в комнате, она сейчас готовит ужин и вот-вот позовет его к столу. А он не студент, а тракторист или шофер. Недавно Ольга дала ему почитать книжку о народовольцах, о покушениях на царя. И после приснился ему кентавр, где в главной роли он, Андрей! Он прожил за несколько часов жизнь и пережил душевную муку целого поколения. Он вступил в конфликт с государством, и ему предстояло погибнуть в неравной бессмысленной борьбе. Но он проснулся! И хотя кошмар сна еще будоражил сознание, на душе уже было легко и просто.

Он не герой и не борец, он обычный деревенский парень, жизнь его проходит разумно и радостно. И он всей судьбой неразрывно вписан и в эти перелески, и в этот закат, и в запахи земли, мягкие и живые. Он нужная часть всего, что вокруг, все ему откликается пониманием и родственностью, и, просыпаясь утром, он приветствует мир, молодой, как и он сам, и бросает вызов миру-сверстнику прищуром глаз

и хрустом кулаков. А в каждом его движении и в каждом действии — смысл, созвучный смыслу всего мира...

Он не спускается по лестнице с сеновала, он прыгает с трехметровой высоты и бежит к колодцу. Обливает себя ледяной водой, ахая и задыхаясь внезапной упругостью тела, вытирается длинным махровым полотенцем, а потом, накинув его на шею, идет в дом, где его встречает мать, молодая, красивая и строгая. Она делает ему выговор за ненормальный режим и прогоняет одеваться.

Когда он садится за стол, она подходит к нему сзади и обнимает за плечи. Рука ее вдруг натыкается на что-то твердое на груди сына. Она с тревогой заглядывает ему в глаза, а он сам, встревоженный не менее, вынимает из кармана пиджака пистолет... В глазах матери застывает ужас, и она навзничь падает на пол. Андрей уже знает, что ее разбил паралич...

Было около пяти часов утра третьего дня его пребывания у деда. Андрей проснулся от чужого звука. Еще ничего не зная об этом звуке, он лишь приподнял голову и взглянул на часы. Потом подтянулся к краю сеновала. Вправо по улице в узкий проулок между огородами въезжала машина «Бобик». Она вползла за плетень. Там остановилась. Заглохла. Из-за плетня вышли четыре человека и цепочкой направились в его сторону. Не доходя двух домов, они разделились. Двое пошли дальше прямо, двое других, видимо, решили пройти огородами. Они вошли в калитку ближнего дома и там начали «бег с препятствиями» через огородные плетни, приближаясь к дому деда.

«Быстро они добрались до меня»,— подумал Андрей, и, кажется, других мыслей не было. Была тоска. Пистолет уже в руке. Он и не заметил, когда достал его. Те, что шли прямо, уже около ворот. Сейчас. Андрей не видел их. Щеколда поднялась и некоторое время висела в поднятом положении. Затем ставня ворот скрипнула и подалась внутрь. Двое вошли во двор. Он мог перестрелять их сверху без труда, но почему-то не решался взорвать утреннюю тишину, точно совершил бы этим тягчайшее преступление. К тому же он не обнаружен, и это сомнительное преимущество так не хотелось терять!

Тут он представил лицо внезапно проснувшегося деда, и мысль о нем хлестнула по лицу. Зачем он приехал сюда? Еще одна глупость в цепи бессмысленности всех его действий. На этот раз граничащая с подлостью! Теперь, случись бы и чудо, он не хотел жить!

Двое уже стучались в дверь сеней. Дед, видимо, с их очередного похмелья прошлым вечером спал крепко, не по-стариковски. Андрей выглянул в щель крыши сеновала в другом конце и увидел тех, что шли огородами. Увидел на мгновение, они уже скрылись за домом, подбираясь к окнам. Он вернулся на свое место, снял пистолет с предохранителя и, свесившись с площадки сеновала, спросил резко и громко:

— Чего надо?

Его окрик был воспринят стучавшимися, как пинки под зад. Они шарахнулись от двери, у обоих в руках пистолеты. Не такие, как у него,— меньше. Один назвал его фамилию.

— Я,— ответил Андрей.

— Бросай оружие! Дом окружен! Слазь!

Чекист говорил не очень уверенно, потому что именно на него был наведен пистолет Андрея. Их же пистолеты смотрели очень неопределенно вверх, лишь в сторону Андрея, но, может быть, и мимо.

— Я сдамся при одном условии,— спокойно ответил Андрей.— Если вы сейчас же без шума вернетесь к машине. Я пойду туда же вслед за вами!

— Не валяй дурака! — зарычал второй.— Бросай пистолет и слазь!

Он при этом сделал какой-то странный жест левой рукой. Андрей понял его чуть с опозданием, когда услышал шорох на другой стороне сеновала. Ему заходили в спину. Лестница была именно с той стороны. Не поворачиваясь полностью, Андрей выстрелил в ту сторону и оглох от выстрела, так он был громок, резок и внезапен. Двоих у дверн тут же смело за дом, и одновременно два выстрела отбросили Андрея в глубь сеновала.

— Шуметь так шуметь! — подумал и выкрикнул Андрей и пальнул в обе стороны.

Выстрелы уже не казались грохотом. Они уже нравились ему. Но он вспомнил, что осталось всего три патрона, а тех четверо, и от сознания, что против четырех он бессилен, стало тоскливо и жаль напрасных выстрелов... Он вдруг превратился в кошку! Он полэал от одного конца сеновала к другому, в узкие щели пытался высмотреть своих врагов, но их видно не было. Зато на крыльце соседнего дома, на противоположной стороне улицы, да и везде, где улица просматривалась, уже сновали люди, заспанные и испуганные, но не могущие побороть любопытства. И еще он увидел бегущего к дому деда. Тот, оказывается, давно встал и куда-то ушел, а теперь бежал к дому, скорчившись и подволакивая ноги.

В воротах навстречу ему выскочил чекист, схватил его за руки и, будто невзначай прикрываясь им, потащил деда в сторону, размахивая пистолетом в свободной руке и крича:

— Все по домам! Здесь опасный преступник! Он вооружен! Все по домам!

И он выстрелил вверх над ухом деда. У деда подкосились ноги, и он с вывернутой рукой повис на плече чекиста, который, все так же прикрываясь дедом, затаскивал его за дом.

Андрей высунулся сверху и закричал:

— Ты, сволочь, оставь деда! Не смей!

Дед увидел его. Челюсть у него отвалилась, глаза выкатились, он вдруг начал хватать чекиста за ту руку, в которой был пистолет, и, прежде чем они исчезли из поля зрения, Андрей успел увидеть, как дед обмяк на руках чекиста от удара в живот...

Люди вокруг вроде бы и разбегались и в то же время появлялись то тут, то там, и те, кому удавалось увидеть Андрея, показывали на него рукой, что-то кричали, прятались и высовывались снова.

— Последний раз говорю, сдавайся! Все равно возьмем!

Андрей не выдержал и выстрелил на голос. В ответ прозвучал залп. Андрей закричал:

— Слушайте, вы, подонки! Вы привыкли, чтобы перед вами ползали на коленях, вы привыкли хватать людей, как мышей! Попробуйте возьмите меня! Я первый стреляю в вас! Но скоро вас будут взрывать, давить машинами, бросать под поезда! Преступники — это вы! Вас научат бояться, сволочи!

Еще когда кричал, появилась мысль сдаться. Будет суд. Пусть его приговорят к расстрелу, но на суде он скажет им все, что знает и думает о них! Кто-нибудь будет на суде! Кто-то запомнит его слова!

Но тут он вспомнил рассказ одного выжившего, но в свое время приговоренного к расстрелу клиента того подполковника, которого он убил в Лемболово.

Андрей представил, как после приговора захлопнут на его руках наручники и отведут в камеру смертников. Ему предложат написать помилование. А вдруг он не выдержит страха смерти, вдруг сломается! Но если и устоит, потом его выведут в нужное место, зачитают приговор, а может, и не будут зачитывать, просто кто-то выстрелит ему в затылок и затем спокойно проделает контрольный выстрел в висок, а врач, оттянув веки, засвидетельствует смерть на протоколе «приведения в исполнение».

Нет! Такого удовольствия он им не доставит! Андрей подполз к краю сеновала. У него в запасе один выстрел Хотя бы одного, да он уложил, заберет с собой! Но вдруг испугался. Останется один патрон! А если он промахнется и только ранит себя! Нет! Он не может рисковать! Да и что проку — одним гадом станет меньше? А сколько их! Бессмысленно!

Он начал шептать имена всех, кто был когда-то дорог ему, боясь забыть кого-то, не вспомнить! Дед, Ольга, Костя, Вадим, Пашка, Коля, мама... мама... На этом память его забуксовала, и лицо матери заслонило все лица, и он уже больше никого не мог вспомнить. И слово «мама» звучало в мозгу помимо его воли, и губы его шептали, и стократным эхом повторяла его мысль, он даже видел это слово написанным большими буквами на школьной доске и на листке бумаги и отдельно буквами, висящими в воздухе... Он всунул ствол пистолета в рот, но это было так противно — во рту отвратительный вкус сгоревшего пороха, ствол горячий и кислый. Его затошнило! Он выплюнул дуло, приложил его к виску, но представил свой изуродованный, разнесенный череп, и стало дурно. Он испугался, что может потерять сознание! Тогда он вывернул пистолет дулом к себе, подставил его туда, где ощущалось биение сердца, чуть привалился на пистолет телом, чтобы не откачнулось дуло при нажатии на спуск. Положил на спуск палец левой руки и так оставался минуту или чуть более без единой мысли, без единого побуждения в душе. И, лишь словно убедившись в наступившей пустоте и готовности, нажал на спуск.

Вынув обойму из его пистолета, чекист с удивлением рассматривал оставшийся патрон.

— Как думаешь,— обратился он к другому,— почему он оставил один патрон?

Тот, не повернувшись, пожал плечами.

— Забыл, наверно.

Посещение

Недавно попал мне в руки документ, автором которого, как предполагают, был один провинциальный священник, умерший всего лишь год назад. Характер документа таков, что я не решился передать его куда-нибудь, но и умолчать о нем оказалось выше моих сил. Я слукавил. Я написал рассказ. И тем самым снял с себя всякую ответственность!

В сельской церкви уже час назад закончилась служба, но священник, отец Вениамин, только что направился домой. С одним из своих прихожан обсуждал он важный вопрос — смену церковной ограды, поскольку нынешняя, стоявшая с незапамятных времен и без конца подправлявшаяся, совсем прохудилась. Разговор шел потому о столбах и штакетнике, о краске, то есть о цвете, какой приличествует ограде Божьего храма. Понятное дело — голубой. Но в магазинах только желтая да красная. Значит, переплата! Отец Вениамин перебирал бородку, мужичок чесал в затылке. Наконец, договорились по самому хорошему: ограда ставится бесплатно, а на штакет да на краску подкинуть надо с запасом. Договорились...

И после этого отец Вениамин все равно не торопился домой, оттягивал что-то...

Всем знакомо, как это бывает: делаешь что-то, суетишься, суетишься, но знаешь, что, как останешься один, поджидает тебя дума печальная и будет эта дума тебе душу травить до петухов...

Священнику, однако, седьмой десяток, и по опыту знает он, что надо всегда печаль по имени называть, чтобы не таилась она в душе мукой непонятной. Понять печаль — значит найти ее причину, причина же — это уже факт, а факту всякому полочка есть, где лежать ему да забываться...

И как только домой пришел и на иконы взглянул, вспомнил причину своей печали. Это было лицо юноши, что пришел сегодня в храм к началу службы и простоял у двери, не перекрестившись ни разу, до самого конца. И ушел, не перекрестившись. А что же было в лице его? Для отца Вениамина в его лице была память. Много лет назад, в годы молодости своей, знал он такие лица, русские лица, с мукой в глазах, лица, которые потом стали исчезать в земле русской, а те, что приходили им на смену, и необязательно безбородые, не в бороде смысл, просто это были совсем другие лица, и говорили они на каком-то чужом языке, в котором слова не то штыки, не то скрежет зубовный. И тогда кончилась Русь! И как в татарщине или в немецчине жили. Даже православные, веры не изменившие, даже в их лицах не было светлости русской, а лишь страх, отчаяние да богооставленности мука.

Отец Вениамин прошел через расколы и тюрьмы и выжил чудом. Слово Божие нес людям, как крест подносят к глазам преступника, на смерть обреченного.

Привык священник думать, что кончилась Русь и с каждым днем кончается. Но вот через полвека, после всего, что было, вдруг стали встречаться ему то тут, то там знакомые лица. С удивлением и трепетом душевным приглядывался к ним, и было поначалу разочарование великое, казалось, будто напрокат взяты лики русские про русское забывшие!

Встретил он однажды в городе двух молодых людей. Бороды русые, глаза синие, руки нервные... Стоят в стороне, говорят о чем-то горячо... Глаза горят... Стал загадывать отец Вениамин, о чем разговор их. О смысле жизни? О Боге? О прекрасной даме, наконец? Подошел близко сзади, и будто в душу плюнули! Говорили о хоккее. С ликами Алеши Карамазова — и о хоккее!

И все же! Все же это было знамение! Может быть, сначала лица русские, а потом и души...

Вот сегодня один из таких, новых, простоял у него в церкви всю службу. Несколько раз пристально вглядывался ему в глаза священник. Веры не видел, но и пустоты воинствующей не было в них. Значит, все-таки что-то было! И вот это «что-то» и есть сегодня печаль отца Вениамина. Подумалось ему, что такие глаза должны быть у арестанта за решеткой, или у неизлечимо больного, или у потерявшего самое дорогое в жизни... Хотелось молиться за эти глаза, просить Господа избавить их от боли и тоски, хотелось самому сделать что-нибудь в помощь, в облегчение, в избавление! Он знал, что ночь проведет в молитве и слезах, и уверенность была, что сегодняшняя его молитва непременно услышана будет...

И как-то совсем машинально готовил себе ужин, яичницу поджаривал да чай кипятил. И когда уже за столом собирался произнести предтрапезную, услышал стук в дверь. Удивился, потому что не ждал гостей. Но удивился еще больше, когда, открыв дверь, увидел того, о ком только что думал.

— Можно? Я не помешал вам? — неуверенно спросил юноша, не переступая порога.

— Отчего же,— ответил отец Вениамин.— Собирался ужинать в одиночестве, Господь гостя послал, и я очень рад. Заходите!

Тот прошел в прихожую, потом в комнату, благословения не попросил, на иконы не перекрестился. И казалось, будто знал, что нужно это сделать, и не сделал умышленно, чтобы подчеркнуть свое отношение и не создать двусмысленности положения. Держался просто. Охотно сел за стол и если от яичницы отказался, то чай пил с удовольствием, из блюдечка, держа его обеими руками, так же, как и хозяин дома, словно обычай древний припоминал.

Они сидели друг против друга, смотрели друг другу в глаза и улыбались, может быть, каждый своему, но близость рождалась несомненная, хотя вместе с тем какая-то смутная тревога входила самым краешком в сердце священника.

— Меня Алексеем зовут,— сказал, наконец, гость.— А о вас я знаю давно. И много хорошего слышал от тетки моей, она в соседней деревне живет и к вам в церковь ходит.

Отец Вениамин молчал. Пил чай и смотрел на гостя улыбаясь.

— А пришел я к вам за помощью, отец... хотя почти уверен, что помочь мне вы не в силах... И все-таки пришел... Должен был я попытаться, правда?

— Конечно,— согласился священник.

Чувствовалось, что юноше очень трудно начать, и не слова он подыскивал, а форму разговора, так, словно сказать хотел лишь немногое, но чтобы ответ получить по самому главному. Отец Вениамин не торопил его и не поощрял к откровенности, потому что знал: откровенным человек по нужде бывает да по вере. Гость без веры. Значит, нужда... Разговорится.

— Наверное, я все расскажу вам,— продолжал гость.— Наверное. Но не сразу. Сначала я хотел бы получить от вас ответ на один вопрос, для меня очень важный. И очень прошу вас, не торопитесь с ответом! У меня философское образование, и я знаком с богословской литературой. Казенный ответ меня не устроит. Я хочу знать ваше личное мнение! У вас за плечами жизнь. Мне нужен откровенный ответ человека, прожившего жизнь. Представьте, что от искренности вашего ответа зависит моя жизнь!

Отец Вениамин заволновался.

— Вы можете быть уверены в том, что я не солгу вам, о чем бы вы меня ни спросили, и все же стóит ли ставить в зависимость от чьей-то искренности, даже священника, свою жизнь. Ведь так трудно бывает понять человеку человека. А, если я правильно понял вас, вы хотите спросить меня о чем-то таком, о чем нелегко говорить?

Юноша несколько смутился.

— Ну, пожалуй, я чуть сгустил краски! Вопрос, в сущности... то есть... я бы мог его задать любому священнику... но к вам у меня уже была заочная расположенность...

Он замялся.

— В общем, отвечая на мой вопрос, учтите, пожалуйста, что я неверующий и что, я уже сказал, для меня это очень важно!

Помолчал и выпалил:

— Что такое чудо, отец?

Священник даже растерялся.

— Чудо?! Но... Вы же ставите меня в невозможное положение! Вы спрашиваете о чуде и говорите, что неверующий! Так как же я вам отвечу! Ведь для меня чудо — это явление бытия Господа нашего, знак Его присутствия в мире... если говорить о так называемых сверхъестественных явлениях... Но для меня, поверьте, для меня чудо —

всё творение Божие! Вам трудно понять это, но взгляните на мир глазами ребенка или как посторонний, и каждая букашка и жизнь человеческая — всё чудо, и ничто без Бога объяснения не имеет...

Священник увидел, как потускнели глаза юноши, и прервался на полуслове.

— Не то! Все не то! — пробормотал гость и... вдруг дернулся, как-то весь дернулся, будто судорога прошла по телу. Поймал встревоженный взгляд священника, смутился и заговорил сбивчиво: — Не обращайте внимания... я после объясню... бывает так у меня... иногда...

И вот только после этих слов отец Вениамин заметил нечто особенное в облике юноши, в его манере держаться, в позе, как он сидел на стуле. В чем особенное — не объяснишь, может быть, болен?

Теперь он сидел боком на стуле, вцепившись руками в спинку, напряжение чувствовалось и в руках, и в лице.

— Не то я хочу услышать от вас! — с болезненной гримасой сказал гость.

— Что же? — спросил священник и подумал о заведомой бесполезности этого разговора.

— Вот вы, лично вы, были когда-нибудь, ведь вы прожили большую жизнь, были вы когда-нибудь сами свидетелем чуда? Настоящего чуда!

— Нет,— ответил священник.

— И при этом вы верите в чудо?

— Мне трудно ответить вам, молодой человек. Ведь если я вам скажу, что воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а пред тем жизнь, деяния и смерть Его — величайшее чудо, засвидетельствованное апостолами, ведь для вас это неубедительно. А между тем после этого величайшего события вообще недостойны были люди внимания Господа, ибо сколько же свидетельствовать! Но так мыслю я — грешник из грешников! Господь бесконечно добр! И чудеса, кои происходят с людьми, есть милость, есть деяние милосердия, есть переполнение любовью к твари сердца Господнего! Милость отвергающему ее!..— Тут он прервался и недоуменно посмотрел на юношу.— Но... помилуйте! Если вы не верусте в Бога, то ведь для вас и чуда не существует! Зачем же?..

— Я верю в чудо, отец. Точнее, я признаю чудо!

— Немыслимо! — изумился священник.— Если без Бога, какое же может быть чудо? Если вокруг материя одна да причинность жестокая, откуда чуду взяться? А если признавать чудо, то необходимо предполагать при этом хотя бы, скажем, некую силу, некий источник чуда...

— То есть вы хотите сказать,— не без ехидства вставил гость,— что надо предполагать причину чуда, а только что сами говорили о жестокой причинности материального мира! А?

— Не ловите меня на слове! Это нехорошо! Вы же понимаете меня, мысль мою понимаете!

Отец Вениамин не столько обиделся, сколько огорчился.

— Конечно, я понял вас. Но все дело в том, что возможны в мире явления, как следствия нарушения причинности. Могу я так посмотреть на вещи?

— Можете,— был спокойный ответ.— Но ответа на вопрос не получите, и удовлетворения не будет. Такой ответ не снимает вопроса, а рождает новые и бесконечные.

— А разве гипотеза Бога не порождает сомнения и бесконечность вопросов?

Священник помолчал некоторое время, ответил потом не торопясь.

— Гипотеза Бога — это удел ищущих в гордыне. Не вера рождает сомнения, а слабость наша, греховность, неспособность следовать путем веры! Но сомнением вера проверяется! Испытывается! Преодоление сомнения — радость великая, коей лишены безбожники...— Отец Вениамин почувствовал вдруг, что начинает уставать, что говорит вяло и неубедительно.— Не кажется ли вам, Алеша, что мы уходим в тему, которая, как вы сказали, уже решена вами? Я не улавливаю сути вашего вопроса? Я ведь могу говорить о чуде только как о явлении Божием, в Бога же вы не верусте. Чем я могу помочь вам? Попробуйте поискать ответ у науки...

Алексей саркастически усмехнулся:

— Увы! Наука мне еще менее способна помочь!

При этих словах он вдруг снова дернулся. Лицо перекосилось. Но была это не гримаса боли, а скорее досады... Пошатываясь, он встал со стула и подошел к окну. Левой рукой вцепился в подоконник, правой ухватился за ручку рамы и стоял к священнику боком, словно единственную позу выбрал.

— Никто мне помочь не может! — с каким-то тоскливым отчаянием прошептал он.

— Вы больны? — неуверенно спросил отец Вениамин.

— Болен? Если бы я сам знал, что со мной!

— Не понимаю...— пробормотал священник, не в силах оторвать глаз от лица своего гостя. Было это лицо человека в отчаянии, но оно не было лицом в обычном смысле больного человека. Что же?

Снова заговорил Алексей.

— На чем мы остановились? Да... На гипотезе Бога... Оставим... Значит, вы считаете, что всякое чудо — это непременно явление Бога?

— Так,— неохотно ответил священник.

— Если от Бога, значит, какой-то смысл в каждом чуде? Намек своеобразный?

— Именно. Иначе зачем Господу являть Себя, как не в указание! Однако являет Себя Господь без навязывания, на волю не посягая!

— Не понимаю! — поспешно и нервно спросил Алексей.

— Упорствующему в неверии и чудо не поможет. Так я мыслю.

— Упорствующему? А если не упорствующему? Если желающему поверить?

— Уверует! — твердо ответил отец Вениамин.

Теперь на лице гостя была улыбка, не то снисходительности, не то сожаления.

— Ну, а вы, отец, вы если бы увидели, к примеру, человека, идущего по воде, как бы вы отреагировали на это?

— Колени бы преклонил в радости и благодарении за милость Господню...

Хохот прервал слова его, грубый, циничный хохот, но священник не успел даже обидеться. Его гость вдруг оторвался от окна, как стоял, в рост, медленно всплыл к потолку, и теперь хохот падал на священника сверху, сверху же падали прерываемые хохотом слова:

— Ну, так преклоните колени, отец, возблагодарите!

С последним словом гость занял в воздухе горизонтальное положение, выставил вперед руки и с растопыренными пальцами поплыл к священнику, не переставая хохотать...

Очнулся отец Вениамин на своей кушетке, что в углу, от прикосновения холодного ко лбу. Это Алексей прикладывал к голове мокрое полотенце. Лицо юноши было испуганным, и слезы! — да, слезы — это первое, что увидел священник.

— Вы живы! Слава Богу! Если можете, простите меня, пожалуйста! Я негодяй! Прошу вас, простите меня! Вам лучше?

— Что это было? — еле слышно выговорил всё еще бледный священник.

— Я всё объясню вам! Я должен был сразу рассказать всё! Но так глупо и подло всё получилось!..

— Вы гипнотизер и пришли посмеяться надо мной?

— Нет! Честное слово, нет! Я всё вам объясню! Сейчас же! Поверьте, я не хотел того, что получилось! Вы были так бледны, я испугался... Хотите воды?

— Да...

Отец Вениамин на мгновение закрыл глаза, но тотчас же вцепился в руку Алексея.

— Вы действительно летали или это бред?

— Я принесу воды...

Растерянность и испуг всё еще были в голосе гостя, но когда он бросился за водой в прихожую, священнику показалось, что ноги его не касаются пола, и когда тот вернулся с кружкой, отец Вениамин снова был близок к обмороку. Пил он судорожно, с закрытыми глазами. Потом почти простонал:

— Рассказывайте же, наконец! Я буду лежать... Возьмите стул, садитесь рядом... И говорите!..

Видимо, не так просто было начать, и первые фразы были обрывочны, но только первые, потому что потом началась исповедь.

— Я окончил философский... Готовился в аспирантуру... Знаете ли вы, отец, как заманчива философия! Как таинственно это слово! Как загадочно величественны имена жрецов — Гегель! Кант! Платон! Фихте! Сейчас уже пусто... А раньше у меня голова кружилась при упоминании этих имен! А какое ни с чем не сравнимое наслаждение испытываешь, когда начинаешь понимать мысль великого философа, словно сам пережил ее. А гордость при этом! Но это что! Вот когда впервые вдруг обнаружишь у великого философа, к пониманию которого стремился годы, когда обнаружишь у него первую крохотную неувязочку, нелогичность — вот где плеск тщеславия! А потом, когда сам составишь мнение

о великом, даже высказывать это мнение никому неохота, так горд и доволен собой бываешь! Многие на этом останавливаются и удовлетворяются, из них потом рождаются чванливые комментаторы, но в философов они не превращаются. Я останавливаться не хотел, но со мной случилось другое: я вдруг почувствовал, что пустое всё это... Сколько людей — столько философий. Каждый прав лишь постольку, как видится ему мир... Истины в философии нет, есть лишь одни более или менее талантливые интуиции, оригинальные конструкции... и не более. И всё! Как бы это сказать... одни стены... перегородки... лабиринты... а крыши нет... здания нет! Я имею в виду истину...— Прервался.— Лишнее говорю, да? Но это необходимо, поверьте...

Священник схватил его за руку.

— Говорите! Не нужно ничего объяснять! Говорите!

— Вот тогда я и обратил внимание на религию. Началась тогда мода на кресты и иконы... Я прочитал Евангелие и сказал себе: это то, что я искал! Это мудрость, которую я чувствую, но постичь не в силах. Она выше моих возможностей! Я понял, что всю жизнь буду каждый раз по крупице понимать эту мудрость, и жизни моей не хватит! А если есть такая возможность — познавать конечную мудрость, можно ли жить еще ради чего-нибудь другого? Тогда я объявил себя верующим.

— Объявили? — удивленно переспросил отец Вениамин.— Разве вы не уверовали, если поняли, что нет мудрости большей?!

Алексей невольно улыбнулся.

— Я объявил, что уверовал. Я думал, что это одно и то же. Признавать правоту христианства и поверить в Бога.

— А разве это не так? — изумился священник.

— Конечно! Ведь и христианство можно воспринимать лишь как зашифрованную философию сохранения человеческого рода, полученную, к примеру, от космических пришельцев, высших по разуму!

— Да,— печально согласился священник,— люди готовы верить во что угодно, но только не в истину, простую и очевидную.

— Очевидность — явление субъективное...— начал было юноша, но замолчал. Потом продолжал:— Так я стал верующим. Отрастил бороду, бросил курить, упорядочил отношения с женщинами... Благодаря своей философской натасканности я стал в своей среде чем-то вроде проповедника. Церковь, разумеется, посещал и даже посты держал строго по календарю... Но вот месяц назад случилось...

— Будьте добры, дайте мне еще глоток воды! — Пил, а руки заметно дрожали, и бледность будто снова выступила на лице.— Ну, ну... я слушаю! Говорите!

— Вы думаете, это случилось во время молитвы, или во время благостных размышлений, или при чтении Священного писания? Это было на пляже, когда я валялся на песке, и не было у меня в тот момент ни благих, ни грешных мыслей... Я хотел подняться, оперся ладонями на песок и вдруг понял, что повис над песком... так... сантиметра на четыре... Казалось, что я не сделал ни одного движения, только подумал — и тут же поднялся еще! У меня закружилась голова, то есть произошло примерно то же, что и с вами полчаса назад. Я потерял сознание. Правда, лишь на мгновение. А когда снова пришел в себя, то уже знал каким-то особым телесным знанием, что могу подняться в воздух без малейшего усилия и напряжения. Заметьте, отец, при этом я даже не вспомнил о Боге! Я просто был ошеломлен... Я быстро оделся, еле удерживаясь от эксперимента, прыгнул в автобус... Он был полон, но не слишком, я же висел между людьми, поджав ноги... В комнате я запер на ключ и, обратите внимание, даже не взглянул на иконы, которыми был полон угол. Я набрал воздуху, как для храбрости, и всплыл к потолку. Я летал, опускался, переворачивался вниз головой, роняя из карманов всякую ерунду... было как во сне...

Вы говорите, всякое чудо от Бога... Но ведь если это было так, то в душе моей я чувствовал бы хоть что-то! Но ничего! Понимаете, ничего не было, скорее, напротив, ощущение уродства, ненормальности... Не было чуда... Был лишь парадокс причинности... И тогда пришло прозрение! Я никогда не был верующим... Более того, я почувствовал ну, что ли, пустоту вселенной, безбожие мира, собственное сиротство...

— Возможно ли это! — воскликнул священник.— Ведь вы же летаете! Летаете! И говорите о пустоте вселенной, о сиротстве... Господи! Да что же это случилось с людьми! Ни кары, ни благодати не приемлют!

Поднявшись с кушетки, он подошел к иконостасу, почти упал на колени.

— Господи! Не гневайся на неразумение рабов Своих! Разум их помутнен, и душа осквернена! Велико терпение и безгранична любовь Твоя, Господи!

Гость стоял в стороне. На лице была досада, или печаль, или досада печальная. А когда священник умолк и склонился в поклоне, голос Алексея зазвучал резче и будто даже с издевкой.

— Я ведь еще не всё рассказал вам, отец!

Тот поднялся, снова сел на кушетку, закрыл лицо руками.

— Рассказывайте! Всё рассказывайте! Ничего не оставляйте на душе!

Алексей подошел к иконостасу.

— Символы! Символы вашего Бога! А признает ли Сам Бог эти символы за Свои! Богохульство? Да? — Сел рядом.— Тогда, в своей комнате, обнаружив себя уродом, я под конец сорвал икону со стены и летал с ней и глумился над Богом умышленно! Я ведь рисковал, правда? Но ничего со мной не случилось, икона же треснула, когда я выронил ее из рук под потолком. А жаль! Вот если бы в этот момент я брякнулся на пол да переломал себе руки или ноги...

— Тогда бы уверовали?

— ...Еще бы! — рассмеялся Алексей.

— Нет, и тогда бы не уверовали... Впрочем, нет, нет, не знаю.

Чего-то смутился отец Вениамин, потому что пожалел о своих словах.

Алексей не обратил внимания.

— Так началась моя новая жизнь! Жизнь в чуде! Чего там! Я о Боге и думать забыл в первые дни! Ведь летать! Господи! Можете ли вы себе представить, какое это удовольствие, нет, наслаждение — летать! Ночью над степью или озером! Вскинешь руки, и паришь, и падаешь, и взмываешь! И ничего больше не нужно в жизни! Так легко!..

При этих словах он поднялся, возложил руки на голову и с пьяной улыбкой поплыл по комнате как-то в полувертикальном положении. Но, видимо, спохватился, быстро, словно спрыгнул, опустился на пол и тревожно взглянул на священника. Тот был бледен и торжествен, стоял в полный рост.

— Чудо! Чудо! — шептал он. И столько счастья было в его голосе, что откровенная зависть отразилась на лице юноши.— Теперь можно и умереть!

Отец Вениамин вдруг нахмурился, лицо стало озабоченным.

— За что же дал мне Господь лицезреть чудо? — спросил он, тревожно взглянув на Алексея.— За что? Разве я не отягощен грехами более других? Неужели...

Он тут побледнел, как перед обмороком, и даже закачался. Гость поторопился подхватить его под руки, но был мягко отстранен и отошел в угол удивленный. Священник опустился на кушетку, отсутствующим взглядом смотрел куда-то мимо Алексея.

— Вы хотели еще что-то рассказать...

— Вам плохо? Может, воды?..

— Нет,— безучастным голосом ответил он.— Говорите же! Я знаю, вы не сказали еще чего-то очень важного...

Алексей пожал плечами.

— Главное сказал. Странно... Сначала вы были счастливы, когда узнали... А сейчас похожи на самого несчастного человека в мире... Я подозревал, а теперь уверен, что мое чудо в итоге всем приносит несчастье...

— Всем? — встрепенулся отец Вениамин.— Разве еще кто-нибудь?..

— Вот об этом я и не успел вам рассказать! — усмехнулся Алексей.— Но сначала о себе... Что мне лично делать с этим чудом? Для меня утерян смысл жизни! Я уже не могу жить среди людей, потому что не могу контролировать себя! — Улыбнулся.— Ах, если бы вы знали, отец, сколько соблазнов я преодолел! Больше, чем Иисус, поверьте! Сколько раз мне хотелось взлететь где-нибудь посередине улицы и полюбоваться сверху на физиономии моих современников, пожизненно опьяненных всеобщим детерминизмом природы! А сегодня, в вашей церкви, думаете, мне не хотелось устроить потеху!

— Но вы не сделали этого! — тихо сказал священник.

— Не сделал. Но вовсе не по причине порядочности! Мне объявиться, значит превратиться в подопытного кролика науки или в обожествленного кролика Церкви! Я самолюбив! И не могу позволить, чтобы меня *изучали*!

— И до сих пор никто...

— Увы! — перебил его гость.— Но к рассказу об этом вам, отец, следует подготовиться.

Хотел, кажется, с иронией... Но ирония не прозвучала, и потому священник ответил серьезно:

— Я готов.

— Невозможно мне жить среди людей! Скучно! Я не чувствую себя суперменом! Я просто хочу летать! Я превратился в ночную птицу, отец! Днем летать нельзя... Я уехал в деревню, бросил учебу и всё прочее, как ненужную бумажку выбрасывают... Пьянством никогда не страдал... о наркотиках понятия не имею... но, кажется, со мной происходит то же самое! Днем сплю, а во сне летаю... Просыпаюсь всегда в страхе: неужели только сон?! Если один, тут же буквально бросаюсь в воздух, и когда убеждаюсь, что это не сон, что я действительно летаю, то плачу от счастья! Если я нахожусь где-то, где нельзя взлететь, вдруг появляется мысль, что чудо кончилось, и я спешу куда-нибудь, чтобы убедиться... Самое страшное, отец, это что с каждым днем сокращается время, когда я могу не летать... Люди раздражают своим присутствием... Хамом становлюсь... равнодушным... Только летать!

Но я хотел рассказать... Да... Однажды я убежал в лес в полдень, когда сомнения напали... Убежал в лес и, забыв обо всем, начал гоняться за птицами! Такой переполох наделал... Птицы, отец, они тоже детерминисты! Они терпеть не могут, когда нарушаются законы природы...

В общем, увлекся я, смотрю — мужик... Стоит внизу с выпученными глазами, корзину выронил... челюсть на подвесе... Мне хоть бы исчезнуть сразу! А я к нему полетел... Он как стоял, так и грохнулся на спину без звука. Когда к нему подлетел, он уже всё... Я уже убийца! Вот как! И вы вот тоже чуть Богу душу не отдали, а уж вы-то...

Священник вскочил с кушетки. Глаза расширены, в глазах ужас, руки трясутся... Алексей шарахнулся от него.

— Вот! — крикнул отец Вениамин.— Вот! И я тоже! И вы, и мужик, и я тоже!

Он схватился за голову.

— Только этого не хватало! — пробормотал Алексей, пятясь к двери.

— Стойте! — крикнул священник.— Простите меня!

Он вдруг упал перед Алексеем на колени.

— Простите! Христа ради! Я вас поучал, проповедь читал о вере! Простите! Не имел права! В обмане был сам и вас обманывал! И Бога! И Бога! Вы честно... прямо... А я всю жизнь...

Он упал на пол и зарыдал. Алексей в отчаянии заметался по комнате.

— Будь проклято это чудо! — крикнул он в отчаянии, опускаясь на колени перед священником. Тот живо поднял голову, обнял его, тоже встав на колени.

— Нет! Не смейте говорить так! Вы не понимаете! Мы все предали Господа! Я первый! Он чудом своим разоблачил ложь мою!

Он перешел на шепот.

— Ведь я же испугался! Понимаете! Испугался! Как и тот мужик, что не верил! И вы в страхе перед чудом, потому что и вы без веры! И я! Господи! Простится ли такое? Я фарисействовал! Понимаете!

Алексей осторожно высвободился, поднялся, поднял священника.

— Вы уж извините,— как-то зло сказал он,— только мне, очевидно, таких тонкостей не понять! У меня от своих забот голова кругом... Я пойду, пожалуй...

— Подождите! Прошу вас, подождите!

Отец Вениамин усадил его на стул, сел рядом на кушетку, не выпуская из своих рук руки Алексея.

— Мы не можем, поймите вы, не можем сейчас вот так расстаться! Господь связал нас с вами одной милостью, судьбы наши связал...

— Милостью? — усмехнулся Алексей.— А зачем мне эта милость? Я признал Его доброй волей! Было ведь так! Чудом Он посягнул на свободу моей веры и уничтожил ее!

— Да нет же! Нет! — горячо возражал отец Вениамин.— Не вы ли признавались, что не было веры в вас! Не поддавайтесь гордыне! Вы хотите быть свободным от Бога, но быть свободным от Бога — значит быть в рабстве! Поймите! — От волнения голос его срывался на шепот, он крепко сжимал руку Алексея, крепче, чем можно было ожидать от человека его возраста.— Вы думаете о Боге! Вы жаждете веры! Перешагните через гордыню, станьте дитем, которому

только мир открылся, сердце послушайте свое! В его побуждениях истина ваша!

Алексей сделал рукой жест досады, но священник не дал ему говорить:

— Вы не хотите принять чудо! Но вы... подумайте! Вы бы и Христа не приняли! Ведь вы бы Его распяли!

Алексей внимательно посмотрел на него.

— Какая-то логика есть в ваших словах... Но разве кто-нибудь уверовал благодаря логике?

— Не логика, истина в моих словах! Тысячелетняя истина, которую, было время, признавал весь мир!

— Весь мир признавал Птоломея! Ну и что?

— Господи! — зашептал отец Вениамин, закрыв глаза. На щеках показались слезы.— Господи! Вразуми меня! Дай мне слова!

Алексей попытался высвободиться. Облегчение не пришло, и он уже тяготился разговором.

— Слушайте! — снова горячо и страстно заговорил священник.— Сегодня же, сейчас же идите домой, уединитесь, упадите на колени и заставьте всей силой, какая есть в вашей душе, заставьте себя быть искренним! И молитесь! Не почувствуете ничего, молитесь еще усерднее! Молитесь и час, и два, и три, пока не услышите! Вы услышите, потому что услышаны будете! Дорогой мой, жизнь ваша решается, и не только эта жизнь, скоротечная и неверная, но и та, вечная, которая есть, к которой готовит вас Господь особой милостью Своей.

Он обнял его, уговаривал и умолял.

— Я тоже... всю ночь молиться буду! И двоих нас услышит Господь, если об одном просить будем! Моя жизнь — это три ваших! И всю мне ее отмолить нужно! Сил хватит ли! Прошу вас! Ступайте домой и обратитесь! Обещайте мне!

Алексей, наконец, высвободился, поднялся.

— Я обещаю вам, отец, что сейчас пойду домой...

Тут он прервался, глаза засветились скрытой радостью.

— ...ведь уже темно, да? Значит, я полечу! Я буду лететь и думать над вашим советом. Большего обещать не могу!

Он начал торопливо прощаться со священником, глаза у того были полны слез, и он уже больше ничего не говорил, и только крестил несчастного, и что-то шептал.

Когда за Алексеем захлопнулась калитка, священник уже стоял на коленях...

Ночь была теплая и темная. На холме стоял человек и не виден был никому, кроме самого себя. Еще, может быть, видел его Бог!

Ни звука не было в ночи. А вокруг притаилось дремавшее человечество, и снились ему сны о грехах. Всё уже было! Был убит Авель и распят Христос, а убийство и распятие были забытые человечеством, как забываются детские шалости. И человек на холме под звездным небом, сын Адама, был лишь образом и подобием Адама — Адама, а не Бога, потому что о Боге он уже ничего не знал сам, а тому, что знал понаслышке, верить не мог!

Ночь была теплая и темная. Дремавшее человечество скулило во сне, как собака, обманутая в куске хлеба. Человек на холме слышал этот скулеж, но сочувствия не испытывал, он уже не принадлежал к тому человечеству, с которым разделяла его теплая и темная ночь.

Человек вглядывался в глубину звездного неба и думал:

«Допустим, есть нечто, обобщающее эту бездну материи и пустоты, имеющее в самом себе смысл всему разобщению мира. Я могу представить его, как некий имманентный разум, я могу назвать его Богом. Но что такое Я — пылинка от пылинки, какой контакт может быть у меня с тем, что можно предположить под именем Бога?! Как нужно сократиться и упроститься этому Нечто, чтобы заговорить со мной на одном языке, моими жалкими понятиями! Человеку легче установить контакт с амёбой! Тут хоть есть некий общий принцип бытия... белок и прочее. Нелепа сама идея Бога... а я летаю!

Но довольно! Я отказываюсь больше ломать голову! Пусть теперь этим займется человечество! Завтра оно узнает обо мне! Я нанесу оплеуху одновременно и науке и религии! Ни попы, ни книжные черви не спекульнут на мне! Пусть ползающие завидуют летающему! Летать! Летать!»

Он отбежал назад от края холма, разбежался и, вытянув руки вперед, ринулся вверх. Опьянение полетом овладело им, и больше не было никаких мыслей, никаких проблем и противоречий. Он не чувствовал своего тела, было только сознание самого себя, словно был он теперь тем, чем должен быть от рождения,— бессмертной свободной душой, не отягощенной никакими заботами плоти. Жизнь его стала полетом, и другого смысла в ней не было!

Счет времени был потерян. Он летел и знал, что никогда не устанет, как не может вечное устать от бессмертия. Машинально менял направления и не думал о том, куда летит, далеко ли...

Должно быть, прошло много времени. Неожиданно исчезли звезды, невидимые тучи перекрыли их. Он забыл, с какой стороны они должны быть. Исчезло ощущение верха и низа, вообще исчезло ощущение пространства. Земля и небо исчезли. Подъем и спуск потеряли всякий смысл. Он обнаружил себя стоящим, но где была земля, вверху или внизу, слева или справа,-- пространства не было. Страх, никогда ранее не испытанный, ледяным панцирем сковал сердце. Отчаянно он начал метаться из стороны в сторону, но сторон оказалось больше, чем четыре, больше чем шесть, сторон оказалось столько же, сколько мыслей о них. Он закричал, дико и отчаянно, но человечество, даже если оно и было где-то рядом, спало и не услышало его крика. Он понял, что потерял землю. А без нее, как оказалось, невозможно жить! Бог дал ему крылья, а земля отказала в притяжении...

Задохнувшись от крика, он всей данной ему силой полета кинулся куда-то...

Всю ночь отец Вениамии провел в молитве и слезах. Обессилев, к утру задремал на полу перед иконостасом. Разбудила его соседка, что обычно в седьмом часу приносила ему молоко. Обеспокоенно спросила, здоров ли батюшка. Потом рассказала, что беда случилась в деревне. Человека убили ночью. Доярки утром шли на ферму и увидели. Молодой такой, красивый, говорят...

— Где? — крикнул священник так, что напугал женщину.

— Милиция с району приезжала, забрала.

С удивлением смотрели проснувшиеся жители деревни на священника, почти бегущего по улице с развевающимися по ветру волосами и бородой.

Деревенская фельдшерица оторопела, когда к ней ворвался священник. Он не поздоровался.

— Скажите, вы видели его?

— Кого? — еле выговорила девушка.

— Юношу... убитого...

— Видела,— ответила она, не понимая, чего от нее хотят.

— Что с ним?

Она наконец обрела дар речи.

— Не знаю, так, как будто он с самолета упал... весь разбитый...

Когда вбежал в свою квартиру, дверей не закрыл, у порога не задержался, с размаху упал на колени перед иконостасом и захлебнулся в рыданиях...

1968—1970 гг.

Фото Юрия САЛОВНИКОВА

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

РАПСОДИЯ РАСПАДА

I

Я вышел в сад. Из сада
плыла а окна фасада
рансодия распада

а деревьях полуночных,
в незыблимых громадах
наращивала мощиость
рансодия раснада,

во рвущей сердце грусти,
а критической нагрузке
бетонной эстакады,

а несущихся свободах
в твоей душе разъятой,
в стремительных разводах,

а отпущенных солдатах,

в напрягшихся границах,
в общественных гранитах,
распавшихся в крупицы,

в самоубийствах, а клипах,
и в дулах автоматов
в футлярах из-под скрипок,

в призывах Газавата,
в откачках в Зарубежье
летела центробежно —

На небе след смычковый от Омска до Невады,
и на душе вечерней...
Сыграй мне, Ростропович, рансодию распада,
виолончель алеченья!
Сыграй без исключенья Ростроповичнаду
художника и черни.
Ты, как мулатку в зале, к себе поставишь задом
виолончель алеченья.

я навещал вас ночью, в года, что нет ночнее.
Влекли неодолимо
тяжелый подбородок, что схож с виолончелью
и гневная Галина.

В пуленепроницаемом окне рассвет тонорщится.
Влеки нас, Ростропович.
Не из страны — из тела — уход и возвращенье,
виолончель влеченья!

Молчала за оградой
критическая масса,
распутица расплаты.

Меж основоположников
толпа искала ложников,
шла рабская топтада,

Сыграй людские души, играй небесный почаенник,
расправу после «браво».
чего же в душах больше — Бога или подлости,
Слава?

Мсти, Слава, за все бездны, за шаткий путь без поручней.
Отмщение — в прощенье.
Уводит нас небесною тропою Ростроповича
виолончель влечевяя.

Не след виолончельный!
На синем чулке неба
спустившаяся петля.

Она не виновата!
Просто душа совпала
с рансодией распада.

В несущих утратах,
а сместившихся сатранах
полураснад Урарту,

в непонятых свободах
наращивала коду
раснадия рапсода.

II

Вошел я а дом обратно,
чтоб эту коду вырубить.

в телепрограмме выборов,
в распутных кадрах Вырубовой,
в божбе партаппарата,
ревела хит-парадом
рансодия распада.

Сидела у экрана
критическая масса —
единым сонным глазом
от Омска до Кавказа —
следила за свободами
и жаждала расправы,
подзарядив в стаканах
мистическую воду.

— Зачем все это строили?
Чтоб после разрушали?
— А из чего бы строили,
когда б яе разрушали?!

— Дави интеллигенцию!
Из вани рвались а дебаты
их дамы в полотенцах
на лбах, как Арафаты.

А малые арфята
на прутиках балконов
играли палкой ноты.

Спасите ваши туши!
Связь живота и зада
Затягивайте туже.

Заткните уши ватой!
— в стремительно растущих
подростках на нитратах,—

отваливались плитки,
разваливались семьи,
шаталось государство,

подавленный рапсодией,
поддатый нел: «Посодют!
господа, давайте распадаться!

Асназин абсурда,
ношли сдавать посуду.
Мы — банки из-под ада!»

Вошел в себя. Отвратно —
Расподня рожсада.

Вошел в тебя. Ты рада!
Но тебя в тебе не было.

III
Нетропута распадом, идешь по Ленинграду,
как раньше Маросейкою,
заткнувши уши Бахом, читалка нелегального,
студентка Милосердия.
В одной серьге — так надо.
Зажмурив солицу носик.
На майке надпись: «МАДЕ
ни Петербургъ». Так носят.

Дочь матери Терезы,
ты везешь в палату
афганца на тележке
по гипсовому саду
Ты подмываешь бомжа и полутруп старухи,
берешь ты дело Божье в персиковые руки.
В клиническом подохе с коллегой невоспата
ты полутруп эпохи смываешь от распада.
потом на общем пляже
на лежачке дощатом,
раскинув руки ляжешь
классически распята.
не Сын а Дочь Господня
плывешь водой опасною
В смысле креста сегодня
у нас — эмансипация

дети топчан дощато
иные измеренья

где ты — совсем другая — чулками голубая
загар продемонстрируешь спортивная Даная
плывешь освобожденная на этаже на пятом
творит «группа захвата» топтодию отпада
спустившаяся петли бежит к небесной пятке

говорит невыбритый:
«Мы этот садик вырубим
под здание детсада».

IV
Я вышел в сад обратно.
Сад не переменился.
В усталых арматурах
из нарковроматов
цвели гелиотропы.

Я понял — рядом дуло.
Над гризными газонами
шел из окна в Европу
сквозняк в дыру озонную.

Из этого-то хода
неслись клочки свободы,
великий дух народа,
и подлый дух народа,
и Слава и Мерседесе,
и скрипка Милосердия —
немногими распознана,
но в каждом нарастала
всеобщая рапсодия
распада.

из маленького ада
летим к большому аду,
который не воронка,
а сам — процесс распада.

— Давайте распадаться!
На лучшее и худшее!

Поэт в пальто валютном
настаив ает: «Слушайте
музыку Эволюции!»

Летит табло: «Надежду
остань, сюда входящий».
Надежду я оставил.
Не выброс ил — оставил.
С огарочком иду.

Критическая масса,
критическое время
критической надежды.

Вдруг, как и встарь, предшествует
рапсодия распада
новейшему Пришествию
Господнего расплода?

Раскладное зеркальце

Лирическое зеркальце,
в тебе надежда зебрится,
уроду ты — коверкальце,
ребенку — солнцезайцельце,
красавице ты сердцельце,
где смотрит Аль-Рашид.
В тебя плевали, сверкальце,
топтали, били, скверкальце,
гоголевское зеркальце,
тебя не размозжить.
Что нагадаешь, зеркальце?
Чай, чайнику — ул. Герцена,
мальцу — глаза пришельцыны,
киношникам — Брижжит...
Небьющееся зеркальце,
о чем твой телекс, зеркальце?
А разобьется зеркальце,
то разобьется жизнь.

Рембо перед зеркалом

РЕМБО ОБМЕР
ЗЕРКАЛО ПОЛА КРЕЗ
ОВИР КРИВО
ТЕЛЕКС СКЕЛЕТ
А НА НЕБЕ...

Казнь Сухаревой башни

Симеону Полоцкому

Я
башня
Сухарева
боярышня
суриковская
нессучившаяся
текстеки сукровица
убиенная мазурками
с ромбами и кубиками
На Сухаревой башенке
Иван Великий женится
в Москве землетрясение
как брачная кровать
сдайте яйца сооружению
на белке хоромам
сто лет стоять
Иван Великий женится ух!
на Сухаревой башенке
яее строительЧеглоков
красные дороженьки застелить велите!
почему ж повалены миллионы толп?
. . . . . .

По Сухаревой башне рыдай, Иван Великий!
Над Москвой белеет овдовевший столп.

Кукурьеза

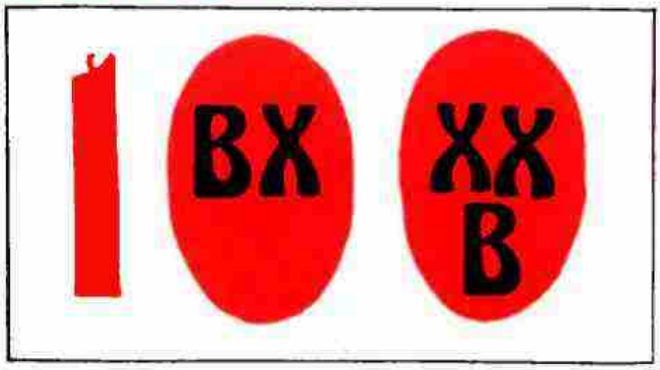
вкрались опечатки
в кукурузные ПОЧАТКИ
на полях как в лавочке
вязаные ТАПОЧКИ

кукурузные КОРОНКИ
зубы в сто рядов
НО РОККИ...

КУКУРУЗА куку хрущу
ЗА РУКУ УКушу

КУКУРУЗА
не дается
УКАЗУ РУ
ководства

К столетию Велемира Хлебникова



Нимбы

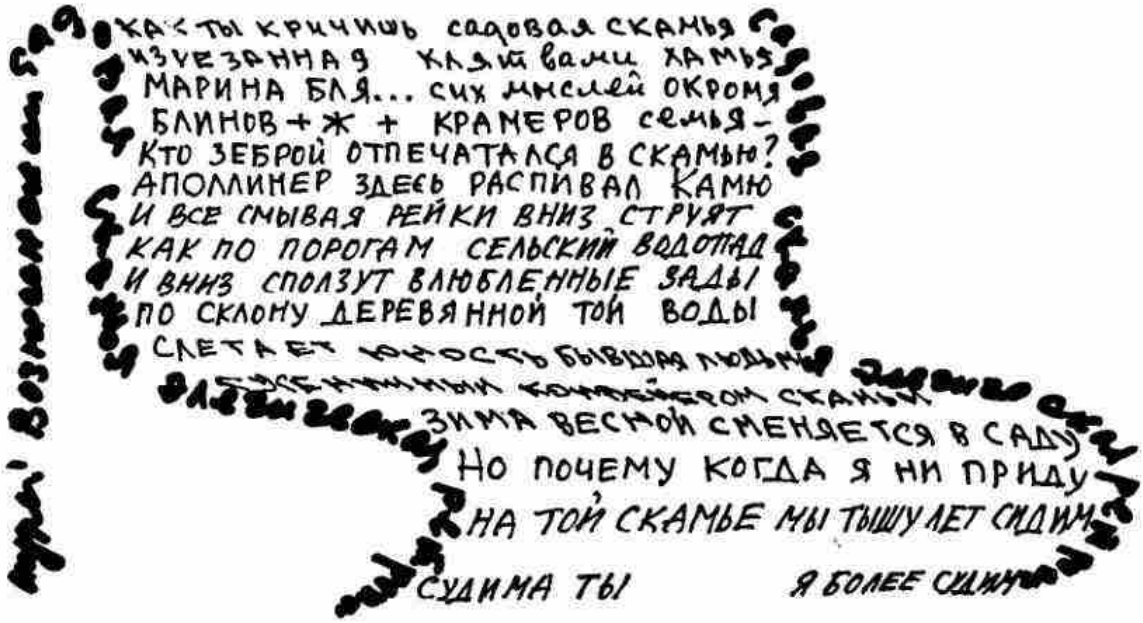
Бросками кроля в темном море,
когда плывешь ты на закат,
с тобой, как вспышки ореола,
круги брусничные стоят.

Куда ты ни переместишься,
какую мне ни шлешь беду —
я видел диски аметиста.
Я плыл с тобою в их свету.

☆☆☆

Тенистый парк. Твои плеча.
Знакомства первая притирка.
И за стеною из плюща
звук теннисного мяча —
как откупоренная бутылка.

Ретроскамья



Тени

Тень отбрасывает предмет.
Тень отбрасывает людей.
Сионы темного света с асфальта
Отбрасывают ноги, белую юбку,
наглые губы.
Квадрат отбрасывает кубийство.
Что отбрасывает
сдвоенная тень со стены,
предшествующая нам?

Истины нет. Есть тень,
отбрасывающая людей,
чтоб отбрасыать новых.

Я отбрасываю тебя.

Надпись на книге
Георгию Адамовичу
Обдираючи аденоиды,
состраданием ночь омоючи,
в час всемирного одиночества
прокричу стихи Адамовичу...

Нью-Йорк — 1972 г.

13 строк

Рейс твой за горами затерялся.
Садилось солнце. И наискосок
луна всходила. Буря приближалась.
И две дорожки в волнах загорались —
как будто две пружины от матрасв —
одна — стальная, а другая — красная.
Они сбивали дьяволу белок.
Я уходил вдоль берега. Напрасно.
Они за мной. От них не отмотаться.
Крутилась пара винтовых дорог.
Я лег на спину. Душен был песок.
Из ресторана доносились танцы.
Играла «Салмонеллу» группа-рок.

ИЗ ЖИЗНИ КРЕСТИКОВ

— Чемпион Икс
переплыл Стикс.
— Крестик-с...

Пути

На проселочную глину
отсыревшая земли
отпечатывает шину
в виде зубчиков Кремля.

Беспредельная Россия,
что за ангел иль ОРУД
эту дактилоскопию
на дорогах разберут?

По кому дорога гонит?
Кто раздавлен, недвижим,
на московском небосклоне
отпечатком этих шин?

Поэхо

Тютчев прорастил
мыслящий тростник.
Я бы уточнил —
мыслящий инстинкт.
Эхо погрустит —
мыслящий транзит.

В тумане моря

Абхазия — как Ориноко,
Зеленая на голубом.
Гуляет парень одинокий.
Что ищет он в краю родном?

Его не занимают музы.
Что он ищет, золотой?
— Автомат системы «Узи»,
будто в «Узи» есть покой.

Гражданка

Уходят солдаты в гражданку.
На рынках оружье в цене.
Задравши Лады как танки,
гражданка летит по стране.

Вражда зарождается в семьях.
Пытают людей утюгом.
За что нам такое отмщенье?
Свобода и голод кругом.

Приметы? Бои у ОВИРа.
Я белый нашел во дворе.
Неужто под лозунгом мира
к гражданской несемся войне?

Проза

Иван ТВАРДОВСКИЙ

СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖИТОГО

Здесь, в этом маленьком поселке, я встретил девушку. Предшествовала этому чистейшая случайность: уходя на работу, я как-то прихватил с собой мое первое письмо к маме из Нижнего Тагила, чтобы по пути забежать в отделение связи и отправить его заказным. Возле молоденькой сотрудницы почты в тот момент сидела ее подруга. Их беседа, естественно, прервалась, я подал письмо и заметил, что взгляд девушек на конверт был весьма внимательным, как и на самого отправителя. Всего две-три минуты и задержался я там, но, получив квитанцию, слегка поклонился и сказал: «Спасибо!», а уходя — «До свидания!». Вот с этого-то и началось мое знакомство с той самой подругой сотрудницы почты. Сначала встречи были беглыми — когда я шел то на работу, то с работы, со своей неизменной лопатой на плече, обутый в лапти. Мы обменивались приветствиями и только. Но однажды эта девушка, идя с прорабского участка и поравнявшись со мной, сказала: «Здравствуйте!» — и, улыбаясь, добавила еще о том, что теперь знает мою фамилию: «Вы Иван Трифонович Твардовский. Фамилию я узнала еще тогда на почте, а имя и отчество мне сказала табельщица из погрузбюро Анихимовская».

— Ну вот и прекрасно! Смею просить вас назвать ваше имя, и мы будем добрыми знакомыми!

— Моя фамилия Романова, зовут меня Маруся! Будем знакомы, и первенство по идее принадлежит мне! Согласны?

Мы пожали друг другу руки, продолжая идти. У подъезда одного из двухэтажных домов она остановилась: «Здесь я живу вместе с сестрой,— указывая на окно квартиры, сказала,— если пожелаете — приходите, пожалуйста!»

Поблагодарив за любезное приглашение, я ушел к себе в общежитие. Про себя, между прочим, пытался определить, кто она есть. Хотя, в сущности, это никакого значения не имело, я искренне был рад моей встрече, тайно мечтал о настоящей дружбе, о счастье, о прекрасной и долгой весне и всех земных радостях, которыми так вот щедро может одарить судьба,— мне было тогда двадцать три года...

В связи с тем, что прибыл я на стройку одновременно с группой освободившихся из лагерей и в общежитие поселился вместе с ними, то так само собой получилось, что к этой категории жителей поселка я и был причислен, то есть к тем, кого если не в глаза, то про себя называли «колонистами» или «лагерниками» и считалось, что, дескать, надо подальше от них. Собственно, по этой причине терять мне было нечего, и я не старался где-либо доказывать, что, мол, «не за того принимаете!» — был убежден, что человек познается в делах и ничто другое не может играть важной роли.

Как-то свободным вечером я наконец вознамерился побывать у своей милой знакомой, которую я называть стал Машей — мне казалось, что так теплее и ласковее. Мы уже часто встречались, Маша многое успела мне рассказать о себе и о судьбе своей семьи. Жила она со старшей сестрой и семилетним братишкой, занимали в комнате лишь один угол, поскольку здесь жили еще три подобных им семьи, с той лишь разницей, что две были супружескими парами. На душу там приходилось не более двух квадратных метров площади. Видя такую тесноту, становилось не по себе, казалось, что так жить могут только отверженные, несчастные люди. Так жили уцелевшие спецпереселенцы на восьмом году со дня ссылки.

Маша Романова была спецпереселенкой. Она родилась в 1917 году в семье крестьянина Тюменской области. В 1931 году эта семья была раскулачена и выслана в район строительства Уралвагонзавода. От голода и болезней в 1932 году умерли отец, мать, сестра отца и младенец — девочка. Маша и ее старшая сестра Прасковья на похоронах не присутствовали — их не отпустили с работы, и для них осталось неизвестным, где, как и кто хоронил их родных. Все это было чистой правдой, и когда я услышал рассказ Маши обо всем, что пережила она в ссылке, то она стала мне родной и самой близкой навсегда.

В начале апреля я был назначен десятником погрузбюро. Произошло это не по моему собственному желанию, но вот — произошло. Дело, может, в том, что за сравнительно короткий период в не столь многочисленном коллективе я дважды был премирован за работу в необычайно сильные морозы — температура понижалась до 43—45 градусов. Таким, видимо, образом я стал приметен у администрации и был приглашен к начальнику стройконторы, в его кабинет. Учтиво поприветствовав, он предложил мне присесть поближе, в кресло, и начал наш разговор примерно так:

— Простите, вас как звать, товарищ Твардовский?

— Иван Трифонович.

— Ну так вот, Иван Трифонович, мне известно о вас, как о хорошем и дисциплинированном рабочем, и есть, значит, соображения назначить вас на должность десятника погрузбюро. Что вы можете сказать по поводу такого моего предложения?

Честно говоря, такое предложение было неожиданным. Любые встречи с начальством для меня ассоциировались с чем-то неприятным.

— Попробуйте! — продолжил он.— Мне кажется, и я надеюсь, дело у вас пойдет.

Нелишне вспомнить, что в те годы даже неполное среднее образование было далеко не у всех, так что и должность десятника представлялась никак не меньше, как должность среднего техперсонала, шла по категории ИТР. В столовых имелись отдельные места, и не должен был такой «отвертаботник» находиться в общежитии вместе с рабочими. И конечно же, не должен был носить лапти, быть небрежно одетым, словом, он должен был быть заметным, помимо всего, и своим внешним видом. И ни в коем случае не держать себя запанибрата с людьми, находящимися под его руководством. К счастью, все это мне было известно — калачом я был уже достаточно тертым.

Новым начальником железнодорожного отдела был назначен инженер Богинский Сергей Андреевич. С именем этого человека связаны самые светлые дни моей работы в те годы на Урале, вплоть до призыва меня в июне 1940 года на службу в Красную Армию. С первого дня знакомства я увидел в нем серьезного, но очень общительного человека, умевшего быть требовательным и щедрым на внимание, на бескорыстную помощь как по службе, так и вне ее, болезненно воспринимал несправедливости по отношению к спецпереселенцам, сочувствовал, что в гражданском правовом отношении они оставались ущемленными многие годы. «Не могу понять,— говорил,— почему эти трудолюбивые люди низведены до положения форменного рабства?! Ведь это позор социалистическому обществу!»

7 июля 1938 года, «надев свое лучшее платье», как сказал поэт, мы с Машей отправились в центральный поселок — на Вагонку, чтобы зарегистрироваться в загсе. «Мы должны быть только счастливы!» — эти слова вертелись в нашем сознании сами по себе.

Регистрация брака свершилась без осложнений: я предъявил паспорт, Маша — полученную от комендатуры справку, служащая бюро загса произвела запись, поздравила с вступлением в брак, пожелала быть счастливыми.

Свадебного застолья предусмотрено нами не было. Чтобы хоть немного придать торжественности нашему задушевно-личному счастью, зашли в ресторан, что, кстати, был тут же рядом, в одном из временных сооружений, заказали почему-то (скорее всего по незнанию) бутылку какого-то розового ликера, что-то из съестного, этим и закончили наше интимное застолье. Первым, кто нас поздравил, был инженер Богинский Сергей Андреевич. От него же нам было дано разрешение поселиться в комнате бывшего начальника железнодорожного отдела.

Вряд ли нужны подробности о начальном периоде нашей семейной жизни. Должно быть понятным, что у невесты-спецпереселенки не могло быть какого-то приобретенного имущества, была она, по существу, совершенно неимущей. И де-

Окончание. Начало см. в № 3 за 1988 год и № 10 за 1989 год.

нежных средств у нас нашлось лишь на покупку двух стульев, примитивного кухонного стола, самой дешевой кровати, кой-чего из необходимой посуды. Вот и все, чем могли мы обзавестись для начала. Но мы были счастливы тем, что так вот, самостоятельно, без каких-либо вспомоществований вышли из затруднений. Собственно, мы не были каким-то исключением — так же примерно начинали и другие только что поженившиеся супруги.

Все у нас как-то ладилось, как могли, улучшали и украшали мы наш быт. И так славно было на душе, что свела нас судьба, и, казалось, весь мир стал краше и добрее. А тут и радиоприемник приобрели,— слушали и не могли наслушаться, засиживались до глубокой ночи. И был случай, когда в один из таких вечеров по радио выступал поэт Михаил Васильевич Исаковский, автор той самой, тогда еще только появившейся песни «Катюша». И помнится, что свое выступление он начал словами: «Родился я на Смоленщине...» Это было так трогательно для меня, слышать голос земляка, которого случалось видеть и быть с ним рядом,— сердце мое сжималось.

В мае 1939 года у нас с Машей родился первенец. Мы перебрали множество русских мужских имен, чтобы окончательно решить, каким именем назвать нашего крошку-сына,— остановились на имени Валерий. Я должен был поехать в загс и выполнить эту святую обязанность родителя. Зарегистрировать новорожденного.

Войдя в помещение загса, я обратился к сотруднице с просьбой.

— Давайте ваши документы! — были ее слова, когда я присел.

Документы у меня были приготовлены, и я подал свой паспорт, справку от комендатуры на имя жены Марии Васильевны и справку из больницы о рождении ребенка.

— У матери новорожденного паспорта нет — она спецпереселенка,— объяснил я, не предвидя, что из-за этого может не состояться акт регистрации, и поспешил добавить, что вместо паспорта у меня есть справка от комендатуры.

— Нет, нет! — вспыхнула сотрудница. — Что вы! Регистрацию новорожденных спецпереселенцев производит только комендатура НКВД! Мы не можем ее подменять!

— Боже мой! Как же так?!

— Ничего не знаю! Новорожденный — дитя спецпереселенки и по положению должен быть зарегистрирован по группе спецпереселенцев.

Наверно, не смогу я передать, что в те минуты происходило во мне, в моем сознании. Я готов был рыдать и проклинать все и вся. И свое имя — тоже. Я не знал, как и что сказать жене, придя домой! Упрекнуть тем, что она родилась у родителей, которых сталинская репрессивная машина загнала в могилу? «Что же делается на нашей земле?» — думал я.

Скрыть от жены то, чем закончилось мое посещение загса, я не считал возможным и только боялся, как бы не возникло у нее подозрение, что я могу испытать разочарование от того, что мы стали супругами. Она не знала, что сам я тоже был таким же спецпереселенцем и в полной мере познал положение изгнанника. Однако открыться ей в этом я не спешил — не хотелось огорчать ее: никто пока об этом не знал, приехал я в Нижний Тагил добровольно и была еще надежда, что все уладится само собой. В дальнейшем, правда, Маша узнала, что семья Твардовских была в ссылке, но узнала не от меня и потому тоже не сказала об этом мне.

Пока я добирался до дома, все думал, как лучше объяснить Маше, что регистрация не состоялась. Пришел к тому, что сказать нужно только правду, но ни в коем случае не выражать огорчений. Словом, суметь не придать случившемуся серьезного значения: говорить, что есть же Сталинская Конституция, где сказано ясно, что сын за отца не отвечает и самоуправству хода не дадут. Было похоже, такой прием мне удался — заметных беспокойств Маша не выразила. Решил я еще поговорить с Богинским, в надежде, что он подскажет, как лучше поступить.

Богинский терпеливо и внимательно выслушал меня, искренне посочувствовал нам с Машей и, поразмыслив, пришел к выводу, что допущено нарушение закона о правах граждан: «Ну, раз дело приняло такой оборот — обещаю тебе покопаться в юридических справочниках и не позднее завтрашнего дня, надеюсь, буду в курсе законоположений».

На завтрашний день Сергей Андреевич сказал следующее: «Справочники я пересмотрел и убедился, что есть смысл отправить письмо товарищу Сталину. Это же черт знает что происходит: новорожденного зачислять в списки ссыльных! Нет, нет! Я напишу такое письмо товарищу Сталину, что местным мудрецам не поздоровится! Ты перепишешь своей рукой, отвезешь на почтамт и сдашь заказным на имя Генерального секретаря ЦК ВКП(б) — Иосифа Виссарионовича Сталина. Тут, брат, никто не рискнет вскрыть. Вот так, дорогой мой!»

Письмо Сталину было написано Сергеем Андреевичем и прослушано мной в чтении самого автора. В подлинности передать содержание того письма, конечно, не берусь, но были в нем и вера, и любовь, и надежда, и просьба прислушаться с отеческой заботой и мудростью Великого вождя и учителя, чтобы преградить попирание конституционных прав граждан ведомой им Великой социалистической страны.

По наивности моей, помню, я не мог удержаться и самым честным образом ронял слезу, потому как не мог и мысли допустить, что такое письмо не возымеет действия даже на окаменевшее сердце.

Переписал я письмо своей рукой, старательно, ни боже мой, не допустил никаких ошибок в тексте и сразу же помчался на городской главпочтамт. Надеюсь, читатель поймет, что конверт с адресом «Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину» в те годы любого почтового работника вводил в оторопь.

— Самому?..— переспрашивали и ждали подтверждений, не ошибка ли это.

— Так, так точно, товарищу Сталину! — отвечал я на полном серьезе, хотя было и чувство риска.

Около трех недель я ждал ответа на мое письмо Сталину. Дождался... нас посетил представитель комендатуры НКВД. Он дал понять, что «...ответ на письмо в Москву получен из области в адрес районной комендатуры...». Назначил день моей явки в комендатуру, имея при себе документы для регистрации новорожденного.

— Вы теперь убедились, что писать в Москву бессмысленно,— сказал представитель НКВД с показным чувством вершителя судеб,— комендатура правомочна решать на месте любые вопросы. И не повторяйте впредь подобные действия — для вас же будет лучше.

Комендатуру я нашел на поселке Пихтовка в одном из бараков, где и встретил уже знакомого представителя НКВД. Принял он меня, как человека в чем-то провинившегося, с покровительственной улыбкой, какую может позволить себе сильный к слабому.

Показал мне мое письмо, возвращенное с приколотой служебной запиской с грифом «Секретариат ЦК ВКП(б)...», адресованной Свердловской областной комендатуре НКВД.

Эта моя встреча с комендантом на поселке Пихтовка закончилась тем, что мне было вручено свидетельство о рождении сына Валерия. На этом документе стояла треугольная печать с текстом Нижне-Тагильской комендатуры НКВД. И хотя не было упомянуто, что мать новорожденного является спецпереселенкой, но факт регистрации в этом учреждении сам по себе оставался несмываемым клеймом на имени сына, и это меня томило и жгло мою душу: нам было отказано в самых элементарных гражданских правах. Эти душевные раны мы хранили в глубокой тайне — не посвящали ни родных, ни знакомых, знали из опыта, что откровенность не приносит в таких случаях ничего, кроме неприятностей.

С начальником железнодорожного отдела, Сергеем Андреевичем Богинским, складывались у меня самые добрые отношения. Обнаружив во мне интерес к познанию принципов нормирования труда и то, что я мог свободно пользоваться логарифмической линейкой, он предложил подготовить меня на должность нормировщика. Я был очень рад его вниманию и начал энергично знакомиться и изучать основные слагаемые элементов различных работ. Сергей Андреевич был удивлен результатами моих стараний и высказывал мнение, что я вполне могу справиться с обязанностями нормировщика отдела, что, между прочим, вскоре и произошло. Воодушевленный этим, в моем представлении, успехом, я не остановился: прошел трехмесячные курсы повышения квалификации, где узнал много нового об основах планирования, статистике, бухгалтерском учете, сметных работах, экономике производства. Все это благотворно влияло на мое сознание и помогало преодолевать чувство подавленности.

В сентябре 1939 года я получил отпуск. Еду поездом к брату Константину на Ставропольщину. Настроение хорошее. Конечно, я знал о событиях в Польше, но еще не думалось об испытаниях, предстоящих нашему народу.

В Москве была пересадка, встретился я с братом

Александром в Большом Могилевском переулке в доме (в районе Арбата), где он тогда жил. Брат обещал посодействовать насчет билета и сделал это — закомпостировал в особой кассе, имея на это какие-то права. Но прежде чем я отправился на вокзал, он дал мне познакомиться с новым изданием «Страны Муравии». «Это пока лишь сигнальные экземпляры, займись, почитай,— сказал он,— а вообще, знаешь, увезешь Константину, давай-ка я надпишу». Он взял книгу и хотел было идти, но приостановился и сказал: «Пойдем, кабинет посмотришь!» Мы прошли по передней прямо, повернули в какой-то узкий коридорчик и вошли в квадратную комнату, где стоял его письменный стол и очень много, как мне тогда показалось, книг на полках вдоль одной стены. Я был удивлен и спросил: «Неужели можно все эти книги прочесть?» Он улыбнулся: «Прочесть... Не прочесть, а изучить, по-настоящему их знать нужно!» На титульном листе «Страны Муравии» он написал: «Брату Константину Трифоновичу с пожеланием всего доброго. М. 14.09.39. Александр».

— А это вот — тебе! — И вручил мне книжку «Дорога» с похожей надписью.

В кабинете мы задержались, присели.

— Засиделся я, Иван, в этом мрачном склепе, солнце сюда не заглядывает,— начал он.— Крайне надо бы «проветриться». Вот уже и полнота, чувствую, начинает появляться. Да, кажется мне, что обстановка в мире складывается опасная: фашизм топчет польскую землю, а это же совсем рядом. Кто знает, что мы можем ожидать? Ну, а как ты там живешь? Говоришь, женился? Не внял моему совету не спешить? Ну что ж... лишь бы все было хорошо. И сын уже есть? Поздравляю, поздравляю! Как назвал? Валерием. Понял. Ну, а меня можешь поздравить с вступлением в ряды Коммунистической партии. И, понимаешь, я не просился,— продолжал он.— Считал и верил, что должен быть час, когда мне скажут: «Иди к нам!» И оно, такое время, пришло.

«Страна Муравия» для меня уже не была свежей новостью — читал, кое-что помнил наизусть и с особым интересом читал то, что попадалось из написанного об этой поэме. Но тут под руками было новое издание, и я наугад раскрыл книгу на 8-й главе и пробежал по знакомым строчкам до «И мальчик, точно со слепым, идет по праву руку с ним». Мне вспомнилось кое-что из знакомой истории, и я перевернул еще страницу: «А вот откуда ж ты теперь, Илья Кузьмич, бредешь?» — «Бреду оттуда...» Я сразу представил образ отца, слабого братишку Паалика, и тут брат, неся на подносе чай. «Заглянул? — спрашивает.— Ну, скажи: остается,— приложив палец к виску,— что-нибудь?»

— Да как же нет? Очень даже остается! Можно сказать — осталось! Но это в общем, о всей вещи я говорю. А скажи мне, о чем я мог вспомнить, читая вот эти строки?

Он посмотрел, на чем я остановился, и: «Понял! — говорит.— Батю нашего ты вспомнил!» Тогда же я сказал брату, что, мол, читая «Муравию», встречаю обороты речи главного героя, отдельные слова и образные сравнения, которые очень живо напоминают мне отца. И «То конь был — нет таких коней! Не конь, а человек», и «Трулля — трулля — трулля-ши! Пропил батька лемеши...», и всякие «Как хватит, хватит...», и «бубочка», и «шмякнул», и сама песенность отдельных мест — от отца у тебя. Ведь стоит только вспомнить,— говорю я брату,— как отец, возвратясь из поездки, начинал рассказывать что-либо про лошадей, а такое случалось не так уж редко, то именно как-то так он и говаривал: «...нет таких коней! Не конь, а человек!» И дело не в областничестве, хотя говор у него был смоленский, но, однако ж, какой-то именно ему присущий.

— Да,— ответил он,— отрицать такое не буду, в его речи много было интересных особенностей.

Провожая меня на вокзал, он был молчалив, но вот вдруг:

— Ты понимаешь, я замечаю, что в народе есть что-то тревожное.

На вокзале он задерживаться не стал, попрощался тепло, еще раз напомнил передать Константину его приветы, затем крепко так сжал мне руку и тихо сказал: «До свидания, Ваня!», оставил меня, и тут же я потерял его из виду.

Прибыл я на Расшиватку темной непроглядной ночью, какие только и бывают в южных степных районах. И так плохо все сложилось: темень кромешная, местность незнакомая, до хутора оказалось что-то более двадцати километров, и никто меня не встретил.

Но вот дождался-таки утра, узнаю, что неподалеку есть элеватор, и чтобы уехать, надо быть там: из станиц и хуторов машины с зерном идут на элеватор. Молодой шофер соглашается взять меня.

Мы въехали в хутор Фельдмаршальский, единственная улица которого протянулась на несколько километров, и по всей улице — стаи белых кур. Подъехали к правлению колхоза имени С. М. Буденного, и здесь, не успев еще соскочить с машины, я услышал женский голос: «Иван Трифонович! Добро пожаловать!» Это была Евдокия Кононовна, жена Константина.

Видела она меня впервые, как и я ее, но без ошибки опознала, узрев некое сходство с братом. Константина я увидел издали, он шел с арбузами, остановился, всмотрелся и — ношу прямо на землю, широким шагом — навстречу нам.

Здесь должен сделать небольшое отступление ради любопытных подробностей, за что прошу читателя извинить меня.

Старший наш брат оказался на Кубани, освободившись из заключения, где отбыл три года за побег из района спецпереселенцев. Кубань встретила его неприветливо. В нескольких местах, куда он обращался насчет работы, получил отказ: лагерная справка срабатывала не в его пользу. К тому же и вид его не внушал доверия: одет был в обноски, обувь совсем негожая. «Что делать? Куда податься?». Было от чего голову повесить...

Это произошло летом 1935 года в городе Армавире.

Случайно, где-то в пути ему подарили книгу Н. Островского «Как закалялась сталь». С этой книгой он не расставался и носил ее постоянно при себе. Неудачи с устройством на работу так измотали его, что, будучи уже на грани отчаяния, он решает пойти в управление ОГПУ, чтобы узнать «от самого главного», что ему остается делать и как быть, если нигде не хотят принять на работу.

В приемной ОГПУ спросили, кто он есть и по какому вопросу хочет обратиться.

— Я не знаю, кто я есть. Хочу видеть начальника, который мог бы ответить на мой вопрос.

Начальник заинтересовался странным посетителем и велел привести его к нему в кабинет.

О дальнейшем брат рассказывал так: «Когда я вошел в кабинет, начальник откинулся на спинку стула и несколько секунд смотрел на меня молча. Молодой, лет, может, тридцать. В петлицах «шпала», ремни, значки, ну все как и должно быть — начальник. И вопрос ко мне: «Что вас заставило прийти к нам?» Отвечаю, что так и так, мол, не с добра, ясно... Не знаю, как мне дальше быть и куда деваться. Куда бы ни обратился насчет работы, отказывают. Посмотрите мой документ и скажите мне: кто я такой есть? И стал доставать из грудного кармана свою справку, а книга-то в руке у меня, засуетился: туда-сюда, из руки в руку и — раз ее на стол, а он: «Стоп-стоп-стоп! «Как закалялась сталь»! Где вы смогли ее найти?»

И вот сразу я почувствовал совсем другое внимание ко мне.

«Вы любите книгу? Вы читающий?» — спрашивает. «Да,— говорю,— книга для меня — самый близкий и самый надежный друг».

Посмотрел на мою справку, несколькими вопросами коснулся судьбы. «Ну что ж, Константин Трифонович,— сказал,— не попробовать ли вам устраивать свою жизнь... в колхозе? Я могу сейчас же позвонить в Прочноокопскую — это совсем рядом, за рекой. Кстати, есть там и кузница, и дело может пойти на лад. Как вы?» «Я — с радостью! Спасибо!»

Книгу «Как закалялась сталь» я ему подарил.

В большом, построенном не без выдумки доме некоего кулака брат занимал лишь небольшую часть из двух комнат, причем одна из них была складом зерна, полученного на трудодни. И сразу мне стало ясно, почему на улице хутора так много кур — у всех колхозников некуда было девать зерно.

— Вот так, Иван, и живем,— начал Константин.— В зерне купаемся, а денег — ни гроша! Правда, продать можно, но надо везти в горы, к черкесам, а для этого нужен транспорт, а его-то и нету. Приходится ждать, когда освободится колхозный, да и тогда, опять же, не вдруг его получишь: нуждающихся много, и...— он махнул рукой,— да что это мы... Пойдем-ка, подолью я тебе водички, тебе с дороги надо освежиться, а ты, Дуся, делай что положено в таких случаях,— улыбнулся,— басни — баснями, а дело — делом.

Я гляжу на брата и вспоминаю строки из стихотворения